

Лорд Джим (сборник)

Автор:

Джозеф Конрад

Лорд Джим (сборник)

Джозеф Конрад

Морской авантурный роман

Пароход «Патна» везет паломников в Мекку. Разыгрывается непогода, и члены команды, среди которых был и первый помощник капитана Джим, поддавшись панике, решают тайком покинуть судно, оставив пассажиров на произвол судьбы. Однако паломники не погибли, и бросивший их экипаж ждет суд. Джима лишают морской лицензии, и он вынужден перебраться в глухое поселение на одном из Индонезийских островов...

Тайский пароход «Нянь-Шань» попадает в тайфун. Мак-Вир, капитан судна, отказывается поменять курс и решает противостоять стихии до конца...

Джозеф Конрад, 1857–1924 (настоящее имя писателя Теодор Юзеф Конрад Коженевский) родился в Бердичеве. В семнадцать лет отправился служить во французский торговый флот, затем перешел на английское судно, выучил язык и дослужился до чина капитана дальнего плавания. Роман «Лорд Джим» признан критиками лучшим произведением автора.

Джозеф Конрад

Лорд Джим

Joseph Conrad, Lord Jim, 1900;Typhoon 1902

Кривицкая А., перевод на русский язык, 1926

© ООО «Издательский дом «Вече», 2007

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019

Сайт издательства www.veche.ru

Предисловие автора

Да, моя уверенность укрепляется с того момента,

когда другая душа ее разделит.

Новалис

Когда этот роман впервые вышел отдельной книгой, стали поговаривать о том, что я переступил границу мною задуманного. Некоторые критики утверждали, будто произведение, начатое как новелла, ускользнуло из-под контроля автора. Один или двое считали это очевидным и как будто этим забавлялись. Они заявляли: повествовательная форма имеет свои законы, и утверждали, что ни один человек не может говорить так долго, а остальные не могут так долго слушать. Это, по их мнению, маловероятно.

Поразмыслив в течение приблизительно шестнадцати лет, я не так уже в этом уверен. Известно, что люди – как под тропиками, так и в умеренном климате – просиживали полночи, «рассказывая друг другу сказки». Здесь мы имеем лишь одну сказку, но рассказчик говорил с перерывами, дававшими некоторое облегчение; что же касается выносливости слушателей, то следует принять постулат: история была интересна. Это необходимая предпосылка. Если бы я не верил в то, что она интересна, – я бы никогда не начал ее писать. Что же касается физической выносливости, все мы знаем – иные речи в парламенте произносились в течение шести, а не трех часов, тогда как ту часть книги, в какой дан рассказ Марлоу, можно прочесть вслух меньше чем за три часа. Кроме того, хотя я выключил все незначительные детали, мы можем предположить,

что в тот вечер подавались прохладительные напитки – стакан минеральной воды или что-нибудь в этом роде, – помогавшие рассказчику продолжать повествование.

Сознаюсь, я задумал написать рассказ, посвященный эпизоду с паломническим судном, – и только. Такова была концепция. Написав несколько страниц, я остался чем-то недоволен и отложил на время исписанные листы, не вынимая их из ящика до тех пор, пока покойный мистер Уильям Блэквуд не намекнул мне что пора снова что-нибудь дать в его журнал.

Тогда только я понял, что, отталкиваясь от эпизода с паломническим судном, можно развернуть широкую повесть. А также мне пришло в голову, что этот эпизод может придать «чувству бытия» колорит простой и яркий. Но все подобные настроения и побуждения были в то время довольно туманны и не кажутся мне яснее теперь, по истечении стольких лет.

Те немногие страницы, которые я отложил в сторону, до известной степени повлияли на выбор темы. Но весь эпизод я умышленно переделал заново. Принимаясь за работу, я знал – книга выйдет длинная, хотя и не предвидел, что она растянется на тринадцать номеров журнала.

Иногда мне задавали вопрос, не люблю ли я эту книгу больше всех остальных, мной написанных. Я – великий враг фаворитизма и в общественной жизни и в частной, и даже в тех случаях, когда речь заходит об отношении автора к своим произведениям. Принципиально я не хочу иметь фаворитов; однако не буду утверждать, будто чувствую неудовольствие и досаду, зная, что иные оказывают предпочтение моему Лорду Джиму. Не буду даже говорить, что «я отказываюсь понять»... Нет! Но однажды случилось так, что я был удивлен и сбит с толку.

Один из моих друзей вернулся из Италии, где беседовал с дамой, которой эта книга не нравилась. Об этом я пожалел, конечно, но удивило меня основание такой неприязни. «Вы знаете, – сказала она, – все это так болезненно».

Приговор заставил меня провести час в тревожных размышлениях. Наконец я пришел к тому заключению, что эта дама ни в коем случае не была итальянкой, хотя я допускаю, что тема до известной степени чужда нормально восприимчивым женщинам. Я сомневаюсь даже в том, была ли она жительницей континента. Во всяком случае, ни один человек, в чьих жилах течет романская

кровь, не усмотрел бы ничего болезненного в той остроте, с какой человек реагирует на потерю чести. Подобная реакция либо ошибочна, либо правильна; быть может, ее осудят как искусственную, – и, возможно, мой Джим – тип, встречающийся нечасто. Но могу заверить своих читателей, что он не является плодом холодного извращенного мышления. И он – не дитя Северных Туманов. Солнечным утром, в повседневной обстановке одного из рейдов на Восток видел я, как Джим прошел мимо – умоляющий, выразительный, в тени облака, безмолвный. Таким он и должен быть. И мне подобало со всем сочувствием, на какое я был способен, найти нужные слова, чтобы о нем рассказать. Он был одним из нас.

Джозеф Конрад

Июнь, 1911

Лорд Джим

Глава первая

Ростом он был шесть футов, – пожалуй, на один-два дюйма меньше, сложения крепкого, и он шел прямо на вас, слегка сгорбившись, опустив голову и пристально глядя исподлобья, что наводило на мысль о быке, бросающемся в атаку. Голос у него был низкий, громкий, а держался он так, словно упрямо настаивал на признании своих прав, хотя ничего враждебного в этом не было; казалось, это требование признания вызвано необходимостью и, видимо, относится в равной мере и к нему самому, и ко всем остальным. Он всегда был одет безукоризненно, с ног до головы – в белом, и пользовался большой популярностью в различных восточных портах, где зарабатывал себе на жизнь, служа морским клерком у судовых поставщиков.

Морскому клерку не нужно сдавать никаких экзаменов, но предполагается, что он должен отличаться сноровкой и проявляет ее на практике. Его работа заключается в том, чтобы под парусом, на паровом катере или на веслах

обгонять других морских клерков, первым подплыть к судну, готовому бросить якорь, и радушно приветствовать капитана, вручая ему проспект судового поставщика; когда же капитан сходит на берег, морской клерк должен уверенно, но не назойливо направить его к большой, похожей на пещеру, лавке, где можно найти широкий выбор напитков и съестных припасов, необходимых на судне. Там имеется решительно все, чтобы сделать судно красивым и пригодным к плаванию, начиная с крюков для цепи и кончая листовым золотом для украшения кормы, и поставщик встречает там, словно родного брата, любого капитана, которого никогда раньше не видел. Там вы найдете и прохладную гостиную с креслами, бутылками, сигарами, письменными принадлежностями и экземпляром портовых правил, и радушный прием, который растворяет соль, за три месяца плавания накопившуюся в сердце моряка. Знакомство, таким образом завязанное, поддерживается благодаря ежедневным визитам морского клерка до тех пор, пока судно остается в порту. К капитану клерк относится как верный друг и внимательный сын, проявляет терпение Иова и беззаветную преданность женщины и держит себя как веселый и добрый малый. Позже посылается счет. Прекрасное и гуманное занятие! Вот почему хорошие морские клерки встречаются редко. Если морской клерк, наделенный сноровкой, вдобавок еще и знаком с морем, хозяин платит ему большие деньги и дает кое-какие поблажки. Джим всегда получал хорошее жалованье и пользовался такими поблажками, какие завоевали бы верность врага. Тем не менее с черной неблагодарностью он внезапно бросал работу и уезжал. Объяснения, какие он давал своим хозяевам, были явно несостоятельны. «Проклятый болван!» – говорили хозяева, как только он поворачивался к ним спиной. Таково было их мнение об его утонченной чувствительности.

Белые, жившие на побережье, и капитаны судов знали его просто как Джима – и только. Имелась у него, конечно, и фамилия, но он был заинтересован в том, чтобы ее не называли. Его инкогнито, дырявое как решето, имело целью скрывать не личность, но факт. Когда же факт пробивался сквозь инкогнито, Джим внезапно покидал порт, где в тот момент находился, и отправлялся в другой порт – обычно дальше на восток. Он держался морских портов, ибо был моряком в изгнании – моряком, оторванным от моря, и отличался той сноровкой, какая хороша лишь для работы морского клерка. Он отступал в строгом боевом порядке в ту сторону, где восходит солнце, а факт следовал за ним, прорываясь случайно, но неизбежно. И вот – по мере того как шли годы – о Джиме узнавали в Бомбее, Калькутте, Рангуне, Пенанге, Батавии, – и в каждом из этих портов его знали просто как Джима, морского клерка. Впоследствии, когда острая реакция на то, что невыносимо, окончательно оторвала его от морских портов и белых людей и увлекла в девственные леса, малайцы лесного поселка, где он пожелал

скрыть свой прискорбный дар, прибавили словечко к односложному его инкогнито. Они называли его Тюан Джим, – иначе говоря – Лорд Джим.

Он вышел из пасторской семьи. Из этого приюта благочестия и мира выходят многие капитаны торговых судов. Отец Джима обладал тем ограниченным знанием непознаваемого, какое необходимо для праведной жизни обитателей коттеджей и не нарушает спокойствия духа тех, кому непогрешимое провидение разрешает жить в богатых особняках. Маленькая церковь на холме виднелась, словно мшистая серая скала, сквозь рваную завесу листвы. Здесь стояла она столетия, но деревья вокруг помнят, должно быть, как был положен первый камень. Внизу – у подножия холма – мягкими тонами отсвечивал красный фасад пасторского дома, окруженного лужайками, клумбами и соснами; позади дома находился фруктовый сад, налево – мощный скотный двор, а к кирпичной стене лепилась покатая стеклянная крыша оранжереи. Здесь семья жила в течение нескольких поколений; но Джим был одним из пяти сыновей, и когда, начитавшись легкой беллетристики, он обнаружил свое призвание моряка, его немедленно отправили на «учебное судно для офицеров торгового флота».

Там он познакомился с тригонометрией и научился лазить по брам-реям. Все его любили. По навигации он занимал третье место и был гребцом на первом катере. Здоровый, не подверженный головокружениям, он проворно и ловко взбирался на верхушки мачт. Его пост был на фор-марсе, и, с презрением человека, которому суждено жить среди опасностей, частенько смотрел он оттуда вниз на мирное скопление крыш, перерезанное надвое темными волнами потока; разбросанные по окраинам фабричные трубы вздымались перпендикулярно грязному небу, – трубы тонкие, как карандаш, и, как вулкан, изрыгающие дым. Он видел, как отчаливали большие корабли, вечно двигались широкие паромы и плавали лодки там, внизу, под ним, – а вдали мерцали туманный блеск моря и надежда на волнующую жизнь в мире приключений.

На нижней палубе, под гул двухсот голосов, он забывался и заранее мысленно переживал жизнь на море, о которой знал из беллетристических книг. Он видел себя: то он спасает людей с тонущих судов, то в ураган срубает мачты, или с веревкой плывет по волнам прибоя, или, потерпев крушение, одиноко бродит, босой и полуголый, по не покрытым водой рифам, в поисках ракушек, которые отсрочили бы голодную смерть. Он сражался с дикарями под тропиками, умирал мятел, вспыхнувший во время бури, и на маленькой лодке, затерянной в океане, поддерживал мужество в отчаявшихся людях – всегда преданный своему долгу и непоколебимый, как герой из книжки.

– Что-то неладно, все сюда!

Он вскочил на ноги. Мальчики взбегали по трапам. Сверху доносились крики, топот. Выбравшись из люка, он застыл на месте, ошеломленный.

Были сумерки зимнего дня. С полудня ветер стал свежеть, приостановив движение на реке, и теперь дул с силой урагана; его прерывистый гул походил на залпы огромных орудий, бьющих через океан. Дождь был косой, ниспадала хлещущая сплошная завеса; изредка перед глазами Джима вставали грозно надвигающиеся волны, маленькое суденышко металось у берега; неподвижные строения вырисовывались в плавучем тумане; тяжело раскачивались широкие паромы на якоре, поднимались и опускались огромные пристани, задушенные брызгами. Следующий порыв ветра, казалось, все это начисто смел. Воздух словно состоял из одних брызг. Было в этом шторме какое-то злобное упорство, яростная настойчивость в визге ветра, в диком смятении земли и неба, – ярость, как будто направленная против него, и в страхе он затаил дыхание. Он стоял неподвижно. А ему казалось, что его подхватил вихрь.

Его толкали. – Спустить катер! – Мальчики пробежали мимо него. Каботажное судно, шедшее к пристани, врезалось в стоявшую на якоре шхуну, и один из инструкторов учебного судна был свидетелем этого происшествия. Мальчики облепили поручни, сгрудились у шлюпбалок. – Авария! Как раз перед нами. Мистер Симоне видел. Его отпихнули к бизань-мачте, и он ухватился за снасти. Старое ошвартованное учебное судно дрожало всем корпусом, опуская нос под ударами ветра, а снасти низким басом тянули песню о днях его юности на море. – Спускайте! – Джим видел, как шлюпка быстро опустилась за борт, и бросился к поручням. Раздался плеск. – Отдать концы! – Он перегнулся через поручни. Вода у борта кипела и пенилась. В темноте виден был катер, весь во власти ветра и волн, которые на секунду прижали его борт о борт к судну. Слабо донесся чей-то голос с катера: – Гребите сильнее, ребята, если хотите кого-нибудь спасти! Гребите сильнее! – И вдруг катер, подбросив высоко нос, – весла были подняты, – перескочил через волну и разорвал чары, наложенные на него волнами и ветром.

Джим почувствовал, как кто-то схватил его за плечо.

– Опоздал, мальчуган!

Капитан учебного судна опустил руку на плечо мальчика, как будто собиравшегося прыгнуть за борт, и Джим, мучительно сознавая свое поражение, поднял на него глаза. Капитан сочувственно улыбнулся.

– В следующий раз тебе повезет. Это тебя научит быть расторопным.

Громкими радостными криками приветствовали катер. Наполовину залитый водой, он вернулся, танцуя на волнах, а на дне его копошились в воде два измученных человека. Грозный шум ветра и волн казался Джиму не стоящим внимания – тем сильнее сожалел он о том, что испугался их бессильной угрозы. Теперь он знал, как нужно к ней относиться, и думал, что шторм ему нипочем. Он сумеет встретить и более серьезную опасность. Лучше, чем кто бы то ни было другой. От страха не осталось и следа. Тем не менее в тот вечер он мрачно держался в стороне, а носовой гребец катера – мальчик с девичьим лицом и большими серыми глазами – был героем нижней палубы. Его обступили, с любопытством расспрашивали. Он рассказывал:

– Я увидел его голову на волнах и опустил багор в воду. Крючок зацепился за его штаны, а я чуть не упал за борт; я думал, что упаду, но тут старик Симоне выпустил румпель и схватил меня за ноги – лодка едва не опрокинулась. Старик Симоне – молодчина. Не велика беда, что он на нас ворчит. Он все время ругался, пока держал меня за ногу, но этим он только хотел дать мне понять, чтобы я не выпускал багор. Старик Симоне ужасно вспыльчивый, правда? Нет, я поймал не того маленького белокурого, а другого – большого, с бородой. Когда мы его вытащили, он простонал: «Ох, моя нога! моя нога!» – и закатил глаза. Подумайте только – такой здоровый парень – и падает в обморок, как девчонка. Разве мы с вами потеряли бы сознание из-за какой-то царапины багром? Я бы не потерял! Крюк вошел ему в ногу вот настолько. – Он показал багор, принесенный для этой цели вниз, и вызвал сенсацию. – Нет, глупости! В теле крюк, конечно, не удержался бы, но штаны не подвели. Кровь так и хлестала.

Джим решил, что это было суетное тщеславие, достойное сожаления. Буря пробудила героизм столь же фальшивый, как фальшива была и самая угроза шквала. Он сердился на дикое смятение земли и неба, заставшее его врасплох и постыдно задушившее благородную готовность встретить опасность. Отчасти он был рад, что не попал на катер, ибо достиг большего, оставаясь на борту. Знания его стали шире, чем у тех, кто участвовал в деле. Если все утратят мужество, он один – в этом был он уверен – сумеет встретить фальшивую угрозу ветра и волн. Он знал, чего она стоит. Ему – беспристрастному зрителю – она

казалась достойной презрения. Он сам не ощущал ни малейшего волнения, и потрясающее событие закончилось тем, что, отделившись незаметно от шумной толпы мальчиков, Джим ликовал, вновь убедившись в своей жажде приключений и многогранном своем мужестве.

Глава вторая

После двух лет учения он ушел в плавание, и жизнь на море, которую он так ярко себе представлял, оказалась странно лишенной приключений. Он сделал много рейсов. Познал магию монотонного существования между небом и землей; ему приходилось выносить порицания людей, взыскательность моря и прозаически суровый повседневный труд ради куска хлеба, – единственной наградой за него является безграничная любовь к своему делу. Эта награда ускользнула от Джима. Однако вернуться он не мог, ибо нет ничего более заманчивого, разочаровывающего и порабощающего, чем жизнь на море. Кроме того, у него были виды на будущее. Он был благовоспитан, уравновешен, послушен и в совершенстве знал свои обязанности; вскоре, совсем еще молодым, он был назначен старшим помощником на прекрасное судно, не успев столкнуться с теми испытаниями моря, какие обнаруживают, чего стоит человек, из какого материала он скроен и каков его нрав; эти испытания вскрывают силу сопротивляемости и истинные мотивы его стремлений не только другим, но и ему самому.

Лишь однажды за все это время он снова мельком увидел подлинную ярость моря. А ярость эта проявляется не так часто, как принято думать. Есть много оттенков в опасности приключений и бурь, и только изредка лик событий затягивается мрачной пеленой зловещего умысла: вскрывается неуловимое нечто, и в мозг и в сердце человека закрадывается уверенность в том, что это сплетение событий или бешенство стихий надвигается с целью недоброй, с силой, не поддающейся контролю, с жестокостью необузданной, замышляющей вырвать у человека надежду и возбудить в нем страх, мучительную усталость и стремление к покою... раздавить, уничтожить, стереть все, что он видел, знал, любил, ненавидел, – и насущно необходимое и ненужное – солнечный свет, воспоминания, будущее, – надвигается с жестокостью, замышляющей смести весь мир, просто и безжалостно отняв у человека жизнь.

На Джима упал брус, и он вышел из строя в самом начале той недели, о которой шотландец-капитан впоследствии говорил: «Дружище! Я считаю чудом, что судно выдержало!» Много дней Джим пролежал на спине, оглушенный, разбитый, измученный, потерявший надежду, словно обретался в бездне непокоя. Его не интересовало, каков будет конец, и в минуты просветления он переоценивал свое равнодушие. Опасность, когда ее не видишь, отличается несовершенством и расплывчатостью человеческой мысли. Страх становится слабее, ничем не подстрекаемое воображение – враг людей, отец всех ужасов – тонет в тупой усталости. Джим видел только свою каюту, приведенную в беспорядок качкой. Он лежал, словно замурованный; перед ним была картина опустошения в миниатюре, и втайне он радовался, что ему не нужно идти на палубу. Но изредка непобедимая тревога схватывала в тиски его тело, заставляя задыхаться и корчиться под одеялами, и тогда тупая животная жажда жить, сопутствующая физической агонии, вызывала в нем отчаянное желание спастись во что бы то ни стало. Потом буря миновала, и Джим больше о ней не вспоминал.

Однако он все еще хромотал, а когда судно прибыло в один восточный порт, Джиму пришлось лечь в госпиталь. Он поправлялся медленно, и судно ушло без него.

Кроме Джима, в палате для белых было всего лишь два больных: баталер с канонерки, который сломал себе ногу, свалившись в люк, и железнодорожный поставщик из соседней провинции, пораженный какой-то таинственной тропической болезнью. Доктора он считал ослом и втайне злоупотреблял патентованным лекарством, которое приносил ему контрабандой его неутомимый и преданный слуга тамил. Больные рассказывали друг другу случаи из своей жизни, играли в карты или, в пижамах, валялись по целым дням в кресле, зевали и не обменивались ни единым словом. Госпиталь стоял на холме, и легкий ветерок, врываясь в окна, всегда раскрытые настежь, приносил в комнату с голыми стенами мягкий аромат неба, томный запах земли, чарующее дыхание восточных морей. Эти запахи словно говорили о вечном отдыхе, о нескончаемых грезах. Каждый день Джим глядел на изгороди садов, крыши домов, кроны пальм, окаймляющих берег, и дальше – туда, на рейд – путь на Восток, – на рейд, усеянный гирляндами островков, залитый праздничным солнечным светом, на корабли, маленькие, словно игрушечные, на суету сверкающего рейда, – эта суета напоминала шумный языческий праздник, – а вечно ясное восточное небо и улыбающееся мирное море тянулось вдаль и вширь до самого горизонта.

Как только Джим стал ходить без палки, он спустился в город разузнать о возможности вернуться на родину. В то время благоприятного случая не представлялось, и, выжидая, он, естественно, сошелся в порту с людьми своей профессии. Они были двух сортов. Одни – их было очень мало, и в порту их видели редко – жили жизнью таинственной; то были люди с неугасимой энергией, темпераментом пиратов и глазами мечтателей. Казалось, они блуждали в лабиринте безумных планов, надежд, опасностей, предприятий, в стороне от цивилизации, в неведомых уголках моря; в их фантастическом существовании смерть была единственным событием, казавшимся разумно законченным. Большинство же состояло из людей, которые, попав сюда, подобно самому Джиму, случайно вошли в командный состав местных судов. Теперь они с ужасом смотрели на службу в родном флоте, где дисциплина была строже, долг – священен, а суда обречены на штормы. Они настроились на вечный покой восточного неба и моря. Полюбили короткие рейсы, удобные кресла на палубе, многочисленную туземную команду и преимущество быть белым. Они содрогались при мысли о тяжелой работе и, полагаясь на случай, жили беззаботно, получая то отставку, то новое назначение, служа китайцам, арабам, полукровкам... они готовы были служить самому дьяволу, если бы тот предоставил им эту возможность. Неустанно говорили они о случайных удачах: как такой-то получил командование судном, плававшим у берегов Китая – легкая работа; как одному досталось прекрасное место где-то в Японии, а другой преуспевает в сиамском флоте; на всем, что бы они ни говорили, – на всех их поступках, взглядах, манерах, – было пятно – знак гниения – решимость пройти свой путь в спокойствии и безопасности.

Джиму эта толпа разглагольствующих моряков казалась сначала менее реальной, чем тени. Но под конец он начал находить очарование в этих людях, якобы преуспевающих, на чью долю выпадало так мало опасностей и труда. И презрение мало-помалу вытеснялось иным чувством. Внезапно отказавшись от мысли вернуться на родину, он поступил штурманом на «Патну».

«Патна» была местным пароходом, таким же старым, как холмы, тощим, как борзая, и изъеденным ржавчиной хуже, чем никуда не годный чан для воды. Владелец ее был китаец, фрахтовщиком – араб, а капитаном – ренегат, немец из Нового Южного Уэльса, который на людях неустанно проклинал свою родину, но, видимо, подражая успешной политике Бисмарка, тиранил всех тех, кого не боялся, и разгуливал с видом свирепым и железно-непоколебимым, да в придачу имел рыжие усы и багровый нос. После того как «Патну» окрасили снаружи и побелили внутри, около восьмисот паломников были пригнаны на борт судна, разводившего пары у деревянной пристани.

По трем сходням тремя потоками поднимались они на борт, подстрекаемые верой и надеждой на рай, поднимались, топая и шаркая босыми ногами, не обмениваясь ни одним словом, не озираясь назад; отойдя от поручней, растеклись по всей палубе, двинулись на нос и на корму, спустились в зияющие люки, заполнили все уголки судна, как вода, наполняющая цистерну, как вода, проникающая в выбоины и трещины, как вода, бесшумно поднимающаяся к краям сосуда. Восемьсот мужчин и женщин – каждый со своими надеждами, верой, привязанностями, воспоминаниями – пришли сюда с севера и юга и с далекого востока. Они пробирались по тропинкам в джунглях, спускались по течению рек, плыли в прау вдоль отмелей, перебирались в маленьких каноэ с острова на остров, терпели тяжелые лишения, видели незнакомые места, испытали неведомый доселе страх, влекомые единым желанием. Они пришли из одиноких хижин в лесной глуши, из многолюдных поселков, из приморских деревень. Словно по зову, покинули они свои леса, свои просеки, своих защитников-вождей, свои богатства и свою нищету, друзей юности и могилы отцов. Пришли, покрытые пылью и потом, в грязи, в лохмотьях, – сильные мужчины во главе своих семей; тощие старики, идущие вперед, не надеясь на возвращение; юноши с бесстрашными глазами, с любопытством озирающиеся по сторонам; пугливые девочки со спутанными длинными волосами; робкие женщины, закутанные в покрывала и прижимающие к груди младенцев, обернутых в концы грязных головных покрывал, – спящих младенцев, бессознательных паломников взыскательной веры.

– Посмотрите-ка на этот скот, – сказал немец-скипер новому своему штурману.

Араб – вождь этих благочестивых странников – явился последним. На борт он поднялся медленно, – красивый, серьезный, в белом одеянии и большом тюрбане. За ним следовала вереница слуг, тащивших его пожитки. «Патна» отчалила от пристани.

Она проскользнула между двумя островками и наискось пересекла стоянку парусных судов, прорезала полукруглую тень холма, потом близко подошла к гряде покрытых пеной рифов. Араб, стоя на корме, вслух читал молитву плавающих и путешествующих. Он призывал милость всевышнего на это путешествие, молил благословить труд людей и тайные их стремления. В сумерках пароход разбил спокойные воды пролива, а далеко за кормой паломнического судна маяк, поставленный неверными на предательской мели, казалось, подмигивал пламенным глазом, словно насмехаясь над благочестивым паломничеством.

«Патна» вышла из пролива, пересекла залив и продолжала путь по проходу «Один градус». Она шла к Красному морю под ясным небом, палящим и безоблачным, окутанным в солнечное сияние, которое убивает все мысли, давит на сердце, иссушает всякую энергию и силу. А под зловещим сверканием неба море, синее и глубокое, оставалось неподвижным, даже рябь не морщила его поверхности, – море клейкое, стоячее, мертвое. «Патна» с легким шипением прошла по этой лучезарной и гладкой равнине, развернула по небу черную ленту дыма, оставляя за собой на воде белую ленту пены, которая тотчас же исчезла, словно призрачный след, начертанный на безжизненном море призрачным кораблем.

Каждое утро солнце, словно приноравливаясь на путях своих к продвижению паломников, поднималось, молчаливо извергая свет всегда на одном и том же расстоянии от кормы судна, нагоняло его в полдень, изливая сгущенный огонь своих лучей на благочестивые стремления путников, стремилось дальше, на запад, и таинственно погружалось в море – каждый вечер на одном и том же расстоянии от носа «Патны». Пять белых на борту жили на середине судна, изолированные от человеческого груза. Тент белой крышей протянулся над палубой с носа до кормы, и только слабое жужжанье – тихий шепот грустных голосов – обнаруживало присутствие толпы людей на ослепительной глади океана. Так проходили дни, безмолвные, горячие, тяжелые, исчезая один за другим в прошлом, словно падая в пропасть, вечно зияющую в кильватере судна; а «Патна», одинокая под облачком дыма, упорно шла вперед, черная и дымящаяся в лучезарном пространстве, как будто опаленная пламенем, безжалостно хлеставшим ее с неба.

Ночи спускались на нее как благословение.

Глава третья

Чудесная тишина объяла мир, и звезды, казалось, посылали на землю вместе с яркими своими лучами заверение в вечной безопасности. Молодой месяц, изогнутый, сияющий низко на западе, походил на тонкую стружку, оторвавшуюся от золотого слитка, а Аравийское море, ровное и казавшееся холодным словно ледяная гладь, простиралось до темного горизонта. Винт вертелся безостановочно, как будто удары его являлись частью схемы какой-то

надежной вселенной; а по обе стороны «Патны» две глубокие складки воды, неподвижные и мрачные, протянулись на мерцающей глади; между этими прямыми расходящимися гребнями виднелось несколько белых завитков пены, вскипающей с тихим шипением, легкая рябь, зыбь и маленькие волны, которые, оставшись позади, за кормой, еще секунду шевелили поверхность моря, потом с мягким плеском успокаивались, умиротворенные тишиной воды и неба, а черное пятно – движущееся судно – по-прежнему оставалось в самом центре тишины. Джим, стоявший на мостике, был проникнут великой уверенностью в безграничной безопасности и спокойствии, запечатленных на безмолвном лице природы, как любовь запечатлевается на кротком и нежном лице матери. Под тентом, отдавшись мудрости белых людей и их мужеству, доверяя могуществу их неверия и железной скорлупе их огненного корабля, – паломники взыскательной веры спали на циновках, на одеялах, на голых досках, на всех палубах, во всех темных углах – спали, завернутые в окрашенные ткани, закутанные в грязные лохмотья, а головы их покоились на маленьких узелках, и лица были прикрыты согнутыми руками; спали мужчины, женщины, дети, старые вместе с молодыми, дряхлые вместе с сильными – все равные перед лицом сна, брата смерти.

Струя воздуха, навеваемая с носа благодаря быстрому ходу судна, прорезала темное пространство между высокими бульварками, проносилась над рядами распростертых тел; тускло горели круглые лампы, подвешенные к перекладинам, и в мутных кругах света, отбрасываемого вниз и слегка трепещущего в ответ на непрекращающуюся вибрацию судна, виднелись задранный вверх подбородок, сомкнутые веки, темная рука с серебряными кольцами, худая нога под рваным одеялом, голова, откинута назад, голая ступня, шея, обнаженная и вытянутая, словно подставленная под нож. Люди зажиточные устроили для своих семей уголки, огородившись тяжелыми ящиками и пыльными циновками; бедные лежали бок о бок, а все свое имущество, завязанное в узел, засунули себе под голову; одинокие старики спали, подогнув колени, на ковриках, расстилаемых для молитвы, раздвинув локти, прикрывая руками уши; какой-то мужчина, втянув голову в плечи и уткнувшись лбом в колени, грустно дремал подле растрепанного мальчика, который спал на спине, повелительно вытянув руку; одна женщина, прикрытая с головы до ног, словно покойница, белой простыней, держала в каждой руке по голому ребенку; имущество араба, сложенное на корме, громоздилось тяжелой глыбой с ломаными очертаниями, а лампа, спускавшаяся сверху, тускло освещала груды наваленных вещей: виднелись пузатые медные горшки, подножка стула, клинки копий, прямые ножны старого меча, прислоненные к куче подушек, нос жестяного кофейника. Патентованный лаг на поручнях кормы

ритмически выбивал отдельные звенящие удары, отмечая каждую милю, пройденную паломниками. Время от времени над телами спящих всплывал слабый и терпеливый вздох – испарения тревожного сна; из недр судна внезапно вырывался короткий металлический стук, слышно было, как жестко скребла лопата, с шумом захлопывалась дверца печи, словно люди, священнодействующие над чем-то таинственным там, внизу, были исполнены ярости и гнева; а стройный, высокий корпус парохода мерно продвигался вперед, неподвижно застыли голые мачты, а нос упорно разрезал великий покой вод, спящих под недоступным и ясным небом.

Джим ходил взад и вперед, и в необъятном молчании шаги его раздавались громко, словно настороженные звезды отзывались на них эхом. Глаза его, блуждая вдоль линии горизонта, как будто жадно вглядывались в недостижимое и не видели тени надвигающегося события. Единственной тенью на море была тень от черного дыма, тяжело выбрасывающего из трубы широкий флаг, конец которого растворялся в воздухе. Два малайца, молчаливые и неподвижные, стоя по обе стороны штурвала, управляли рулем; медный обод колеса поблескивал в овальном пятне света, отбрасываемого лампой в нактоузе. Время от времени рука с черными пальцами, то отпуская, то снова сжимая вращающиеся спицы, показывалась на светлом пятне; звенья рулевых цепей тяжело скрежетали в пазах вала. Джим посматривал на компас, окидывал взглядом недостижимый горизонт, потягивался так, что суставы трещали, лениво изгибался всем телом, охваченный сознанием собственного благополучия; нерушимое спокойствие словно придавало ему мужества, и он чувствовал – ему все равно, что бы ни случилось с ним до конца его дней. Изредка он лениво вглядывался на карту, прикрепленную четырьмя кнопками к низкому трехногому столу, стоявшему позади штурвала. При свете фонаря, подвешенного к пиллерсу, лист бумаги, отображающий глубины моря, слегка отсвечивал; дно, изображенное на нем, было такое же гладкое, как мерцающая поверхность воды. На карте лежали линейка для проведения параллелей и циркуль; положение судна в полдень было отмечено черным крестиком, а твердая прямая линия, проведенная карандашом до перима, обозначала курс судна – тропу душ к святому месту, к обетованному спасению, к вечной жизни; карандаш, касаясь острием берега Сомали, лежал круглый и неподвижный, словно голая мачта, всплывшая в заводи защищенного дока.

«Как ровно идет судно», – с удивлением подумал Джим, с какою-то благодарностью воспринимая великий покой моря и неба. В такие минуты мысли его вращались в кругу доблестных подвигов, он любил эти мечты и успех своих воображаемых достижений. То было лучшее в жизни, тайная ее истина, скрытая

ее реальность. В этих мечтах была великолепная мужественность, очарование неуловимого, они проходили перед ним героической процессией, они увлекали его душу и опьяняли ее божественным напитком – безграничной верой в самое себя. Не было ничего, чему бы он не смог противостоять. Эта мысль так ему понравилась, что он улыбнулся, беспечно глядя вперед; оглянувшись, он увидел белую полосу кильватера, проведенную по морю килем судна, – полосу такую же прямую, как черная линия, проведенная карандашом на карте.

Ведро с золой ударялось о вентиляторы кочегарки, и этот металлический стук напомнил ему, что близится конец его вахты. Он вздохнул с удовольствием, но в то же время пожалел, что приходится расставаться с этим невозмутимым спокойствием, поощряющим свободные дерзания его мыслей. Ему немножко хотелось спать, он ощущал приятную усталость во всем теле, словно вся кровь его превратилась в теплое молоко. Шкипер бесшумно поднялся на мостик; он был в пижаме, и широко распахнутая куртка открывала голую грудь. Он еще не совсем проснулся; лицо у него было красное, левый глаз полузакрит, правый, мутный, тупо вытаращен; свесив свою большую голову над картой, он сонно чесал себе бок. Было что-то непристойное в этом голом теле. Грудь его, мягкая и сильная, лоснилась, словно он вспотел во сне, и из пор выступил жир. Он сделал какое-то профессиональное замечание голосом хриплым и безжизненным, напоминающим скрежет пилы, врезающейся в доску; складка его двойного подбородка свисала, как мешок, подвязанный к челюсти; Джим вздрогнул и ответил очень почтительно; но отвратительная мясистая фигура, словно увиденная впервые в минуту просветления, навсегда запечатлелась в его памяти как воплощение всего порочного и подлого, что таится в мире, нами любимом: оно таится в наших сердцах, которым мы вверяем наше спасение; в людях, нас окружающих; в картинах, какие раскрываются перед нашими глазами; в звуках, касающихся нашего слуха; в воздухе, наполняющем наши легкие. Тонкая золотая стружка месяца, медленно опускаясь, погрузилась в потемневшую воду, и вечность словно придвинулась к земле, ярче замерцали звезды, интенсивнее стал блеск полупрозрачного купола, нависшего над плоским диском темного моря. Судно скользило так ровно, что не ощущалось никакого движения вперед, как будто «Патна» была планетой, несущейся сквозь темные пространства эфира, за роем солнц, в устрашающей и спокойной пустыне, ожидающей дыхания новых творений.

– Мало сказать, жарко – там, внизу, – раздался чей-то голос.

Джим, не оборачиваясь, улыбнулся. Шкипер, невозмутимый, стоял, повернувшись к нему широкой спиной; в обычае ренегата было не замечать сначала вашего присутствия, а затем, пожирая вас глазами, разразиться, с пеной у рта, потоком брани, вырывающимся словно из водосточной трубы. Сейчас он только угрюмо что-то проворчал; второй механик поднялся на мостик и, вытирая влажные ладони грязной тряпкой, нимало не смущаясь, продолжал жаловаться. Морякам хорошо здесь, наверху, и хотел бы он знать, какой от них толк? Бедные механики должны вести судно, и они прекрасно справились бы и со всем остальным; ей-богу, они...

– Замолчите! – флегматично проворчал немец.

– Ну конечно! Замолчать! А как что неладно, вы сейчас же бежите к нам, верно? – продолжал тот. Он уже наполовину изжарился там, внизу. Во всяком случае, теперь ему все равно, как бы он ни нагрешил: за последние три дня он получил прекрасное представление о том местечке, куда отправляются после смерти дрянные людишки... ей-богу, получил... и вдобавок оглох от адского шума там, внизу. Проклятая гнилая развалина грохочет и тарахтит, словно старая лебедка, далее еще громче; и какого черта тему рисковать своею жизнью дни и ночи среди всей этой рухляди, будто на кладбище для кораблей, он понятия не имеет! Должно быть, он от рождения такой легкомысленный. Он...

– Где вы напились? – осведомился немец; он был взбешен, но стоял совершенно неподвижно, освещенный лампой нактоуза, похожий на грубую статую человека, вырезанную из глыбы жира. Джим по-прежнему улыбался, глядя на отступающий горизонт; исполненный благородных стремлений, он упивался сознанием своего превосходства.

– Напился! – презрительно повторил механик; обеими руками он держался за поручни – темная фигура с подгибающимися коленями. – Да уж не вы меня напоили, капитан. Слишком вы скаредны, ей-богу. Скорее уморите парня, чем предложите ему капельку шнапса. Вот что у вас, немцев, называется экономией. На пенни ума, на фунт глупости.

Он расчувствовался. Около десяти часов старший механик дал ему одну рюмочку... – всего-навсего одну, ей-богу! добрый старикашка; но теперь старого мошенника не стащишь с койки – пятитонным краном не поднять его. – Э, нет! Во всяком случае, не сегодня! Он спит сладким сном, словно младенец, а под подушкой у него бутылка с первоклассным бренди. – С уст командира «Патны»

сорвалась хриплая ругань, и слово «schwein»[1 - Свинья (нем)]запорхало, как капризное перышко, подхваченное ветерком. Он и старший механик были знакомы много лет – вместе служили веселому, хитрому старику китайцу, носившему очки в роговой оправе и вплетавшему красные шелковые тесемочки в свою почтенную седую косу. В родном порту «Патны» жители побережья придерживались того мнения, что эти двое – шкипер и механик – по части наглых хищений друг другу не уступают. Внешне они гармонировали плохо: один – с мутными глазами, злобный и мясистый; другой – тощий, с головой длинной и костлявой, словно голова старой клячи, с ввалившимися глазами и остекленевшим взглядом. Старшего механика прибило к берегу где-то на Востоке – в Кантоне, Шанхае или, быть может, в Иокогаме; он и сам, должно быть, не помнил, где именно произошло крушение и чем оно было вызвано. Двадцать лет назад его, из сострадания к его молодости, спокойно выпихнули с судна, а могло быть и куда хуже для него, так что, вспоминая об этом эпизоде, он не испытывал и тени сожаления. В то время в восточных морях стало развиваться пароходство, а так как людей его профессии поначалу было мало, то он «сделал карьеру». Всем приезжим он неуклонно сообщал грустным шепотом, что он «здешний старожил». Когда он двигался, казалось, скелет болтается в его платье. Походка у него была раскачивающаяся, и так, раскачиваясь, бродил он вокруг застекленного люка машинного отделения, курил без всякой любви к куренью, набивал табаком медную чашечку, приделанную к четырехфутовому мундштуку из вишневого дерева, и держался с глупо-торжественным видом мыслителя, развивающего философскую систему из туманных проблесков истины. Обычно он скупился и оберегал свой личный запас спирта, но в эту ночь отказался от своих принципов, а потому второй механик – у юнца из Уэппинга голова была слабая – от неожиданного угощения крепким напитком стал очень весел, дерзок и болтлив.

Немец из Нового Южного Уэльса бесновался и пыхтел, как выхлопная труба, а Джим, забавляясь этим зрелищем, с нетерпением ждал, когда можно будет спуститься вниз: последние десять минут вахты раздражали, как дающее осечку ружье. Этим людям не было места в мире героических приключений, хотя они, в сущности, были неплохими парнями. Даже сам шкипер... Но тут Джим почувствовал отвращение при виде этой пыхтящей массы жира, испускающей булькающее бормотанье – темный поток грязных ругательств; однако приятная усталость мешала ему почувствовать активную неприязнь к кому бы то ни было. Ему не было дела до этих людей; он работал с ними плечо к плечу, но коснуться его они не могли; он дышал с ними одним воздухом, но он был иным человеком... Набросится ли шкипер на механика?.. Жизнь была легка, а он был слишком в себе уверен – слишком уверен, чтобы... Черта, отделявшая его размышления от

дремоты, стала тоньше паутинки.

Второй механик незаметно переходил к рассуждениям о своих финансах и своем мужестве.

– Кто пьян? Я? Э, нет, капитан! Дело не в этом. Пора бы вам знать, что наш старший не слишком щедр и даже воробья допьяна не напоит, ей-богу! На меня алкоголь никогда не действовал; не выдуманно еще такое зелье, от которого бы я опьянел. Я готов пить с вами на пари – вы пейте виски, а я жидкий огонь, и, ей-богу, я останусь свежим, как огурчик. Если б я думал, что пьян, я бы прыгнул за борт... покончил бы с собой, ей-богу! Покончил бы! Сию же минуту! А с мостика я не уйду. Где вы прикажете мне подышать свежим воздухом в такую ночь, как сегодня? Там, внизу, на палубе, со всяким сбродом? И не подумаю! Чего мне вас бояться?

Немец воздел тяжелые кулаки к небу и безмолвно потряс ими.

– Я не знаю, что такое страх, – продолжал механик с неподдельным энтузиазмом. – Я не боюсь чертовой работы на этом гнилом судне. Счастье для вас, что существуют на свете такие люди, которые не дрожат за свою жизнь... иначе – что бы вы без нас делали – вы и эта старая посудина с обшивкой из оберточной бумаги... ей-богу, из оберточной бумаги! Вам хорошо, вы из нее вытягиваете монету, – а мне что прикажете делать? Сколько я получаю? Жалкие сто пятьдесят долларов в месяц! Почтительно спрашиваю вас – почтительно, заметьте, – кто не откажется от такой гнусной работы? И дело это опасное! Но я – один из тех бесстрашных парней...

Он выпустил поручни и стал размахивать руками, словно желая нагляднее продемонстрировать свое мужество; его тонкий голос пронзительно взлетал над морем; он приподнялся на цыпочки, чтобы ярче подчеркнуть фразу, и вдруг упал ничком, как будто его сзади подбили палкой. Падая, он крикнул: – Проклятье! – За этим воплем последовало минутное молчание. Джим и шкипер оба пошатнулись, но удержались на ногах и, выпрямившись, с изумлением поглядели на невозмутимую гладь моря. Потом взглянули вверх, на звезды.

Что случилось? По-прежнему раздавалось заглушенное биение машин. Быть может, земля приостановилась на пути своем? Они ничего не понимали; и внезапно спокойное море, безоблачное небо показались жутко ненадежными в

своей неподвижности, словно застыли у края гибели. Механик поднялся, выпрямившись во весь рост, и снова съежился в неясный комок. Комок заговорил заглушенным обиженным голосом:

– Что это такое?

Тихий шум, будто бесконечно далекие раскаты грома, слабый звук, – едва ли не вибрация воздуха, – и судно задрожало в ответ, как будто гром грохотал глубоко под водой. Два малайца у штурвала, блеснув глазами, поглядели на белых людей, но темные руки по-прежнему сжимали спицы. Острый корпус судна, стремясь вперед, казалось, постепенно – от носа до кормы – приподнялся на несколько дюймов, словно стал складным, потом снова опустился и по-прежнему неуклонно делал свое дело, разрезая гладкую поверхность моря. Он перестал дрожать, и сразу стихли слабые раскаты грома, как будто судно оставило за собой узкую полосу вибрирующей воды и гудящего воздуха.

Глава четвертая

Месяц спустя, когда Джим, в ответ на прямые вопросы, пытался честно рассказать о происшедшем, он заметил, говоря о судне:

– Оно прошло через что-то так же легко, как переползает змея через палку.

Сравнение было хорошее. Допрос клонился к освещению фактической стороны дела, разбиравшегося в полицейском суде одного восточного порта. С пылающими щеками Джим стоял на возвышении для свидетелей в прохладной высокой комнате; большие пунки[2 - Пунки – большие матерчатые веера, вделанные в раму и приводимые в действие веревкой. (Здесь и далее – прим. пер.)] тихонько вращались вверху над его головой, а снизу смотрели на него глаза, в его сторону повернуты были лица – темные, белые, красные, – лица внимательные, застывшие, словно все эти люди, сидевшие на узких, рядами поставленных скамьях, были поработаны чарами его голоса. А голос его звучал громко, и Джиму он казался страшным – то был единственный звук, слышимый во всей вселенной, ибо отчетливые вопросы, исторгавшие у него ответ, как будто складывались в его груди, – тревожные, болезненные, острые и безмолвные, как грозные вопросы совести. Снаружи пылало солнце, а здесь

вызывал дрожь ветер, нагнетаемый большими пунками, бросало в жар от стыда, кололи острые, внимательные глаза. Лицо председателя суда, гладко выбритое, бесстрастное, казалось мертвенно-бледным рядом с красными лицами двух морских ассессоров[3 - Ассессор – судебное должностное лицо. Соответствует нашему заседателю.]. Свет из широкого окна под потолком падал сверху на головы и плечи этих трех человек, и они отчетливо выделялись в полумраке большой комнаты, где аудитория словно состояла из теней с остановившимися расширенными глазами. Им нужны были факты. Факты! Они требовали от него фактов, как будто факты могут объяснить все!

– Придя к заключению, что вы натолкнулись на что-то – скажем, на обломок судна, наполовину погруженный в воду, – ваш капитан приказал вам идти на нос разузнать, не получены ли какие-нибудь повреждения. Считали ли вы это вероятным, принимая во внимание силу удара? – спросил ассессор, сидевший слева.

У него была жидкая бородка в форме подковы и выдающиеся вперед скулы; опираясь локтями о стол, он сжимал свои грубые руки и глядел на Джима задумчивыми голубыми глазами. Второй ассессор, грузный мужчина с презрительной физиономией, сидел, откинувшись на спинку стула, и, вытянув левую руку, тихонько барабанил пальцами по блокноту. Посередине председатель в широком кресле склонил слегка голову на плечо и скрестил на груди руки; рядом с его чернильницей стояла стеклянная вазочка с цветами.

– Нет, не считал, – сказал Джим. – Мне велено было никого не звать и не шуметь, чтобы избежать паники. Эту предосторожность я нашел разумной. Я взял один из фонарей, висевших под тентом, и отправился на нос. Открыв люк в носовое отделение переднего трюма, я услышал плеск. Тогда я спустил фонарь, насколько позволяла веревка, и увидел, что носовое отделение наполовину залито водой. Тут я понял, что где-то ниже ватерлинии образовалась большая пробоина. – Он приостановился.

– Так... – сказал грузный ассессор, с мечтательной улыбкой глядя на блокнот; он все время барабанил пальцами, бесшумно прикасаясь к бумаге.

– В тот момент я не думал об опасности. Должно быть, я был немного взволнован: все это произошло так спокойно и так неожиданно. Я знал, что на судне нет другой переборки, кроме предохранительной, отделяющей носовую часть от переднего трюма. Я пошел назад доложить капитану. У трапа я

столкнулся со вторым механиком; он как будто был оглушен и сообщил мне, что, кажется, сломал себе левую руку. Спускаясь вниз, он поскользнулся на верхней ступеньке и упал в то время, как я был на носу. Он воскликнул: «Боже мой! Эта гнилая переборка через минуту рухнет, и проклятая посуда вместе с нами пойдет ко дну, словно глыба свинца».

Он оттолкнул меня правой рукой и, опередив, взбежал по трапу, крича на бегу. Я следовал за ним и видел, как капитан на него набросился и повалил на спину. Бить его он не стал, а наклонился к нему и стал сердито, но очень тихо что-то ему говорить. Думаю, капитан его спрашивал, почему он, черт возьми, не пойдет и не остановит машины, вместо того чтобы поднимать шум. Я слышал, как он сказал: «Вставайте! Бегите живей!» – и выругался. Механик спустился с мостика, и обогнул застекленный люк, направляясь к трапу машинного отделения на левом борту. На бегу он стонал...

Джим говорил медленно; воспоминания возникали удивительно отчетливо; для сведения этих людей, требующих фактов, он мог бы, как эхо, воспроизвести даже стоны механика. Когда улеглось вспыхнувшее было возмущение, он пришел к тому выводу, что лишь дотошная точность рассказа может объяснить подлинный ужас, скрывавшийся за жутким ликом событий. Факты, которые так сильно хотелось узнать этим людям, были видимы, осязаемы, ощутимы, занимали свое место во времени и пространстве – для их существования требовались двадцать семь минут и пароход водоизмещением в тысячу четыреста тонн; они составляли нечто целое, с определенными, чертами, оттенками, сложным аспектом, который улавливала зрительная память, но, помимо этого, было и что-то иное, невидимое, – дух, ведущий к гибели, – словно злобная душа в отвратительном теле. И это ему хотелось установить. Это происшествие не входило в рубрику обычных дел, всякая мелочь имела огромное значение, и, к счастью, он помнил все. Он хотел говорить во имя истины, – быть может, только ради себя самого; речь его текла спокойно, а мысль металась в тесном кругу фактов, обступивших его, чтобы отрезать от всех остальных людей; он походил на животное, которое, очутившись за изгородью из высоких кольев, бегают по кругу, обезумев в ночи, ищет незагороженное местечко, какую-нибудь щель, дыру, куда можно пролезть и спастись. Эта напряженная работа мысли заставляла его по временам запинаться...

– Капитан по-прежнему ходил взад и вперед по мостику; на вид он был спокоен, но несколько раз споткнулся, а когда я с ним заговорил, он налетел на меня, словно был совершенно слеп. Ничего определенного он мне не ответил. Он что-

то бормотал про себя, я разобрал несколько слов – «проклятый пар!» и «дьявольский пар!» – что-то о паре. Я подумал...

Джим уклонился в сторону; вопрос, возвращающий к сути дела, оборвал его речь, словно судорога боли, и его охватили безграничное уныние и усталость. Он приближался к этому... приближался... и теперь, грубо оборванный, должен был отвечать – да или нет. Он ответил правдиво и кратко: «Да». Красивый, высокий, с юношескими мрачными глазами, он стоял, выпрямившись на возвышении, а душа его корчилась от боли. Ему пришлось ответить еще на один вопрос, по существу на вопрос ненужный, и снова он ждал. Во рту у него пересохло, словно он наглотался пыли, затем он ощутил горько-соленый вкус, как после глотка морской воды. Он вытер влажный лоб, провел языком по пересохшим губам, почувствовал, как дрожь пробежала у него по спине. Грузный ассессор опустил веки; рассеянный и грустный, он беззвучно барабанил по блокноту; глаза второго ассессора, переплетавшего загорелые пальцы, казалось, излучали доброту; председатель слегка наклонился вперед; бледное лицо его приблизилось к цветам, потом, облокотившись о ручку кресла, он подпер голову рукой. Ветер пунки обвеивал темнолицых туземцев, закутанных в широкие одеяния, распаренных европейцев, сидевших рядом на скамьях, держа на коленях круглые пробковые шлемы, – костюмы из тика облегали их тела плотно, как кожа. Вдоль стен скользили босоногие туземцы-полицейские, затянутые в длинные белые мундиры; в красных поясах и красных тюрбанах, они бежали назад и вперед, бесшумные, как призраки, и проворные, как гончие.

Глаза Джима, блуждая в паузах между ответами, остановились на белом человеке, сидевшем в стороне, лицо у него было усталое и задумчивое, но спокойные глаза смотрели прямо, живые и ясные, Джим ответил на следующий вопрос и почувствовал искушение крикнуть: – Что толку в этом? Что толку? – Он тихонько топнул ногой, закусил губу и посмотрел в сторону повернутых к нему голов. Он встретил взгляд белого человека. Глаза последнего не походили на остановившиеся, словно замороженные глаза остальных. В этом взгляде была разумная воля. Джим между двумя вопросами забылся до того, что нашел время думать. «Этот парень, – мелькнула у него мысль, – глядит на меня так, словно видит кого-то или что-то за моим плечом». Где-то он видел этого человека – быть может, на улице. Но был уверен, что никогда с ним не говорил. В течение многих дней он не говорил ни с кем, – лишь с самим собой вел молчаливый, бессвязный и нескончаемый разговор, словно узник в камере или путник, заблудившийся в пустыне. Сейчас он отвечал на вопросы, которые значения не имели, хотя и преследовали определенную цель, и размышлял о том, будет ли он еще когда-нибудь в своей жизни говорить. Звук его собственных правдивых

слов подтверждал его убеждение, что дар речи больше ему не нужен. Тот человек как будто понимал его безнадежное затруднение. Джим взглянул на него, потом решительно отвернулся, словно навеки распрощавшись с ним.

А впоследствии, в далеких уголках земли, Марлоу не раз с охотой вспоминал о Джиме, вспоминал подробно и вслух.

Это случилось после обеда, на веранде, задрапированной неподвижной листвой и увенчанной цветами, в глубоких сумерках, испещренных огненными точками сигар. На тростниковых стульях ютились молчаливые слушатели. Изредка маленький красный огонек поднимался и, разгораясь, освещал пальцы вялой руки, часть невозмутимо-спокойного лица, или вспыхивал красноватым отблеском в задумчивых глазах, озаряя кусочек гладкого лба. И, едва произнеся первое слово, Марлоу удобно вытягивался в кресле и сидел совершенно неподвижно, словно окрыленный дух его возвращался в пропасть времени, и прошлое говорило его устами.

Глава пятая

– О да! Я был на судебном следствии, – говорил он, – и по сей день не перестаю удивляться, зачем я пошел. Я готов поверить, что каждый из нас имеет своего ангела-хранителя, но в таком случае и вы должны согласиться со мной – к каждому из нас приставлен черт. Я требую, чтобы вы это признали, ибо не хочу быть исключением, а я знаю, что он у меня есть – я имею в виду черта. Конечно, я его не видел, но косвенные улики у меня имеются. Он при мне состоит, а так как по природе своей он зол, то и втягивает меня в подобные истории. Какие истории, спрашиваете вы? Ну, скажем, – следствие, история с желтой собакой... Вы считаете невероятным, чтобы шелудивой туземной собаке разрешили подвертываться людям под ноги на веранде того дома, в котором находится суд? Вот какими путями – извилистыми, неожиданными, поистине дьявольскими – заставляет он меня наталкиваться на людей с уязвимыми и неуязвимыми местечками, со скрытыми пятнами проказы. Клянусь богом, при виде меня языки развязываются и начинаются признания: словно мне самому не в чем себе признаться, словно у меня – да поможет мне Бог! – не найдется таких признаний, над которыми я могу терзаться до конца дней моих. Хотел бы я знать, чем я заслужил такую милость. Довожу до вашего сведения, что у меня

забот не меньше, чем у всякого другого, а воспоминаний столько же, сколько у рядового паломника в этой долине. Как видите, я не особенно пригоден для выслушивания признаний. Так в чем же дело? Не могу сказать... быть может, это нужно лишь для того, чтобы провести время после обеда, Чарли, дорогой мой, ваш обед был чересчур хорош, и, в результате, этим господам спокойный роббер кажется утомительным и шумным занятием. Они развалились в ваших удобных креслах и думают: «К черту всякое усилие! Пусть Марлоу рассказывает».

Рассказывать! Да будет так. И довольно легко говорить о мистере Джиме после хорошего обеда, находясь на высоте двухсот футов над уровнем моря, имея под рукой ящик с приличными сигарами, в тихий прохладный вечер, при звездном свете. Это может заставить даже лучших из нас позабыть о том, что здесь мы находимся лишь на испытании и должны пробивать себе дорогу под перекрестным огнем, следя за каждой драгоценной минутой, за каждым непоправимым шагом, веря, что в конце концов нам все-таки удастся выпутаться. Однако подлинной уверенности в этом нет, и чертовски мало помощи могут нам оказать те, с кем мы сталкиваемся! Конечно, повсюду встречаются люди, для которых вся жизнь похожа на послеобеденный час с сигарой – легкий, приятный, пустой, – быть может, оживленный какой-нибудь небылицей о борьбе; о ней забываешь раньше, чем рассказан конец... если только конец у нее имеется.

Впервые я встретился с ним взглядом на этом судебном следствии. Вам следует знать, что все, в какой-либо мере связанные с морем, находились там – в суде, ибо уже очень давно вокруг этого дела поднялся шум – с того самого дня, как пришла таинственная телеграмма из Адена, заставившая всех нас раскудахтаться. Я говорю таинственная, так как до известной степени она была таковой, хотя и преподносила всего лишь голый факт – такой голый и безобразный, каким могут быть только факты. Все побережье ни о чем ином не говорило. Прежде всего, одеваясь утром в своей каюте, я услышал через переборку, как мой парс Дубаш, получив разрешение выпить чашку чая в буфетной, лопотал со стюардом о «Патне». Не успел я сойти на берег, как уже встретил знакомых, и вот что я прежде всего услышал:

– Слыхали вы когда о чем-нибудь более поразительном?

...В зависимости от натуры, они цинично улыбались, принимали грустный вид или раздражались ругательствами. Люди совершенно незнакомые фамиллярно заговаривали для того только, чтобы выложить свои соображения по этому

вопросу; бродяга являлся на набережную в надежде, что его угостят рюмочкой за разговором об этом деле; те же речи вы слышали и в Управлении порта, и от каждого судового маклера, от вашего агента, от белых, от туземцев, от полукровок, даже от полуголых лодочников, на корточках сидящих на каменных ступенях мола. Да, небом клянусь! Иные негодовали, многие шутили, и все без конца обсуждали вопрос, что могло с ними случиться. Так продолжалось недели две, если не больше, и все стали склоняться к тому мнению, что все таинственное в этом деле обернется трагической стороной. И тут, в одно прекрасное утро, стоя в тени у ступеней Управления порта, я заметил четверых человек, шедших мне навстречу по набережной. Я подивился, откуда взялась такая странная компания, и вдруг – если можно так выразиться – заорал мысленно: «Да ведь это они!»

Да, действительно, это были они – трое рослых мужчин, а один такой толстый, каким человеку быть не подобает; после сытного завтрака они только что высадились с идущего за границу парохода Северной линии, который вошел в гавань час спустя после восхода солнца. Ошибки быть не могло; с первого же взгляда я узнал веселого шкипера «Патны» – самого толстого человека на тропиках, поясом обвивающих нашу добрую старушку Землю. Кроме того, месяцев девять назад я повстречался с ним в Самаранге. Пароход его грузился на рейде, а он ругал тиранические учреждения Германской империи и по целым дням накачивался пивом в задней комнате при лавке Де Джонга; наконец Де Джонг, который, и глазом не моргнув, сдирал гульден за бутылку, отозвал меня в сторону и, сморщив свое маленькое личико, туго обтянутое кожей, конфиденциально объявил:

– Торговля торговлей, капитан, но от этого человека меня тошнит. Тьфу!

Стоя в тени, я смотрел на него. Он слегка опередил своих спутников, и солнечный свет, ударяя прямо в него, особенно резко подчеркивал его толщину. Он напомнил мне дрессированного слоненка, разгуливающего на задних ногах. Костюм его был экстравагантно красочный: запачканная пижама с ярко-зелеными и густо-оранжевыми полосами, рваные соломенные туфли на босу ногу и чей-то очень грязный и выброшенный за ненадобностью пробковый шлем; шлем был ему на два номера меньше, чем следовало, и удерживался на большой его голове с помощью манильской веревки. Вы понимаете, что такому человеку не посчастливится, если дело дойдет до переодевания в чужое платье. Отлично. Итак, он стремительно несясь вперед, не глядя ни направо, ни налево, прошел в трех шагах от меня и, в неведении своем, штурмом взял лестницу, ведущую в

Управление порта, чтобы сделать свой доклад или донесение – называйте, как хотите.

Видимо, он прежде всего обратился к главному инспектору по найму судовых команд. Арчи Рутвел только что явился в Управление и, как он впоследствии рассказывал, готов был начать свой трудовой день с нагоняя главному своему клерку. Кое-кто из вас должен знать этого клерка – услужливого маленького португальца-полукровку с жалкой тощей шеей, вечно старающегося выудить у шкиперов что-нибудь по части съедобного – кусок солонины, мешок сухарей, картофеля или что другое. Помню, один раз я подарил ему живую овцу, оставшуюся от судовых моих запасов; не то чтобы я ждал от него услуги, – как вам известно, он ничего не мог сделать, – но меня растрогала его детская вера в священное право на побочные доходы. По силе своей это чувство было едва ли не прекрасно. Черта расовая – дух рас, пожалуй, – да и климат... Однако это к делу не относится. Во всяком случае, я знаю, где мне искать истинного друга.

Итак, Рутвел говорит, что читал ему суровую лекцию, – полагаю, на тему о морали должностных лиц, – когда услышал за своей спиной какие-то заглушенные шаги и, повернув голову, увидел что-то круглое и огромное, похожее на сахарную голову, завернутую в полосатую фланель и возвышающуюся посередине просторной канцелярии. Рутвел был до такой степени ошеломлен, что очень долго не мог сообразить – живое ли перед ним существо, и дивился, для чего и каким образом этот предмет очутился перед его письменным столом. За аркой, в передней, толпились слуги, приводившие в движение пунку, метельщики, туземцы-полицейские, боцман и команда парового катера гавани – все они вытягивали шеи и готовы были лезть друг другу на спину. Сущее столпотворение! Тем временем толстяк ухитрился сорвать с головы шлем и с легким поклоном приблизился к Рутвелу, на которого это зрелище так подействовало, что он слушал и долго не мог понять, чего хочет это привидение. Оно вещало голосом хриплым и замогильным, но держалось неустрашимо, и мало-помалу Арчи стал понимать, что дело о «Патне» вступает в новую фазу. Как только он сообразил, кто перед ним стоит, ему сделалось не по себе: Арчи такой чувствительный – его легко сбить с толку, – но он взял себя в руки и крикнул:

– Довольно! Я не могу вас выслушать. Вы должны идти к моему помощнику. Я не могу... Капитана Эллиота – вот кого вам нужно. Сюда, сюда!

Он вскочил, обежал вокруг длинной конторки и стал подталкивать толстяка; тот, удивленный, сначала повиновался, и только у двери кабинета какой-то животный инстинкт заставил его упереться и зафыркать, словно испуганного быка:

– Послушайте! В чем дело? Пустите меня! Послушайте!

Арчи без стука распахнул дверь.

– Капитан «Патны», сэр! – крикнул он. – Входите, капитан.

Он видел, как старик, что-то писавший, так резко поднял голову, что пенсне его упало; Арчи захлопнул дверь и бросился к своему столу, где его ждали бумаги, принесенные на подпись. Но, по его словам, шум, поднявшийся за дверью, был столь ужасен, что он не мог прийти в себя и вспомнить, как пишется его собственное имя. Арчи – самый чувствительный инспектор по найму судовых команд в обоих полушариях. Он утверждает, что чувствовал себя так, словно впихнул человека в логовище голодного льва. Несомненно, шум поднялся страшный. Крики я слышал внизу и не сомневаюсь, что они были слышны на другом конце эспланады, у эстрады для оркестра. Старый папаша Эллиот имел богатый запас слов, умел кричать – и не думал о том, на кого кричит. Он стал бы кричать и на самого вице-короля. Частенько он мне говаривал:

– Более высокий пост я занять не могу. Пенсия мне обеспечена. Кое-что я отложил, и если им не нравится мое понятие о долге, я охотно уеду на родину. Я – старик, и всю свою жизнь я говорил все, что было у меня на уме. Теперь я хочу только одного: чтобы дочери мои вышли замуж, пока я жив.

Он был слегка помешан на этом пункте. Три его дочери были очень хорошенькие, хотя удивительно походили на него. Иногда, проснувшись утром, он приходил к безнадежным выводам относительно их замужества, и вся канцелярия, по глазам угадав его мрачные мысли, трепетала, ибо, по словам служащих, в такие дни он непременно требовал себе кого-нибудь на завтрак. Однако в то утро он не съел ренегата, но – если разрешите мне продолжить метафору – разжевал его основательно и... выплюнул.

Через несколько минут я увидел, как чудовищный толстяк торопливо спустился по лестнице и остановился на ступенях подъезда – остановился подле меня,

погруженный в глубокие размышления; его толстые пурпурные щеки дрожали. Он кусал большой палец, вскоре заметил меня и искоса бросил раздраженный взгляд. Остальные трое, высадившиеся вместе с ним на берег, ждали поодаль. У одного из них – желтолицего, вульгарного человечка, рука была на перевязи, другой – долговязый, в синем фланелевом пиджаке, с седыми свисающими вниз усами, сухой, как щепка, и худой, как палка, озирался по сторонам с видом самодовольно-глупым. Третий – стройный, широкоплечий юноша – засунул руки в карманы и повернулся спиной к двум другим, которые серьезно о чем-то разговаривали. Он смотрел на пустынную эспланаду. Ветхая запыленная гхарри с деревянными жалюзи остановилась как раз против этой группы; извозчик, положив правую ногу на колено, критически разглядывал на ней пальцы. Молодой человек, не двигаясь, даже не поворачивая головы, смотрел прямо перед собой на озаренную солнцем эспланаду. Так я впервые увидел Джима. Он выглядел таким равнодушным и неприступным, какими бывают только юноши. Стройный, чистенький, он твердо стоял на ногах – один из самых многообещающих мальчиков, каких мне когда-либо приходилось видеть; и, глядя на него, зная все, что знал он, и еще кое-что ему неизвестное, я почувствовал злобу, словно он притворялся, чтобы этим притворством чего-то от меня добиться. Он не имел права выглядеть таким чистым и честным! Мысленно я сказал себе: что же, если и такие мальчики могут сбиться с пути, тогда... от обиды я готов был швырнуть свою шляпу и растоптать ее, как поступил однажды на моих глазах шкипер итальянского барка, когда его болван помощник запутался с якорями, собираясь швартоваться на рейде, где стояло много судов. Я спрашивал себя, видя его таким спокойным: глуп он, что ли? или груб до бесчувствия? Казалось, он вот-вот начнет насвистывать. И заметьте – меня нимало не занимало поведение двух других. Они как-то соответствовали рассказу, который сделался достоянием всех и должен был лечь в основу официального следствия.

– Этот старый негодяй там, наверху, назвал меня подлецом, – сказал капитан «Патны». Не могу сказать, узнал ли он меня – думаю, что да; во всяком случае, взгляды наши встретились. Он сверкал глазами – я улыбался; «подлец» был самым мягким эпитетом, какой, вылетев в открытое окно, коснулся моего слуха.

– Неужели? – сказал я, почему-то не сумев удержать язык за зубами. Он кивнул, снова укусил себя за палец и вполголоса выругался; потом, подняв голову, посмотрел на меня с угрюмым бесстыдством и воскликнул:

– Ба! Тихий океан велик, мой друг. Вы, проклятые англичане, поступайте, как вам угодно. Я знаю, где есть место такому человеку, как я; меня хорошо знают в Апия, в Гонолулу, в...

Он приуменьшал, размышляя; а я без труда мог себе представить, какие люди знают его в тех местах. Скрывать не стану – я сам был знаком с этой породой. Бывает время, когда человек должен поступать так, словно жизнь равно приятна во всякой компании. Я это пережил и теперь не намерен с гримасой вспоминать об этой необходимости. Многие из той дурной компании – за неимением ли моральных... моральных... как бы это сказать?.. моральных устоев или по иным, не менее веским причинам – вдвое поучительнее и в двадцать раз занимательнее, чем те обычные респектабельные коммерческие воры, которых вы, господа, сажаете за свой стол, хотя подлинной необходимости так поступать у вас нет: вами руководит привычка, трусость, добродушие и сотня других скрытых и мелких побуждений.

– Вы, англичане, все – негодяи, – продолжал патриот-австралиец из Фленсборга или Штеттина. Право, сейчас я не припомню, какой приличный маленький порт у берегов Балтики осквернил себя, сделавшись гнездом этой редкой птицы. – Чего вы кричите? А? Скажите мне? Ничуть вы не лучше других народов, а этот старый плут, черт знает как на меня разорался.

Вся его туша тряслась, а ноги походили на две колонны, он трялся с головы до пят.

– Вот так вы, англичане, всегда поступаете! Поднимаете шум из-за всякого пустяка, потому только, что я не родился в вашей проклятой стране. Забирайте мое свидетельство! Берите его! Не нужно мне свидетельства. Такой человек, как я, не нуждается в вашем проклятом свидетельстве. Плевать мне на него!

Он плюнул.

– Я приму американское подданство! – крикнул он с пеной у рта, беснуясь и шаркая ногами, словно пытался высвободить свои лодыжки из каких-то невидимых и таинственных тисков, которые не позволяли ему сойти с места.

Он так разгорячился, что макушка его круглой головы буквально дымилась. Не какие-либо таинственные силы мешали мне уйти – меня удерживало

любопытство, самое понятное из всех чувств. Я хотел знать, как примет новость тот молодой человек, который, засунув руки в карманы и повернувшись спиной к тротуару, глядел поверх зеленых клумб эспланады на желтый портал отеля «Малабар», – глядел с видом человека, собравшегося на прогулку, как только его друг к нему присоединится. Вот какой он имел вид, и это было отвратительно. Я, ждал, я думал, что он будет ошеломлен, потрясен, уничтожен, будет корчиться, как насаженный на булавку жук... И в то же время я почти боялся это увидеть... Не знаю, понятно ли, вам, что я хочу сказать. Нет ничего ужаснее, как следить за человеком, уличенным не в преступлении, но в слабости более чем преступной. Сила духа, самая обычная, препятствует вам совершать уголовные преступления; но от слабости неведомой, а быть может, лишь, подозреваемой – так в иных уголках Земли вы на каждом шагу подозреваете присутствие ядовитой змеи, – от слабости скрытой, за которой следишь или не следишь, вооружаешься против нее или мужественно ее презираешь, подавляешь ее или не ведаешь о ней чуть ли не в течение доброй половины жизни, – от этой слабости ни у кого из нас нет защиты. Нас втягивают в западню, и мы совершаем поступки, за которые нас ругают, поступки, за которые нас вешают, и, однако, дух может выжить – пережить осуждение и, клянусь небом, пережить петлю! А бывают поступки, – иной раз они кажутся совсем незначительными, – которые кое-кого из нас губят окончательно.

Я следил за этим юношей; мне нравилась его внешность; таких, как он, я знал; устои у него были хорошие, он был одним из нас. Он как бы являлся представителем всех сродных ему людей – мужчин и женщин, о которых не скажешь, что они умны или занимательны, но вся жизнь их основана на честной вере и инстинктивном мужестве. Я имею в виду не военное, гражданское или какое-либо особое мужество; я говорю о врожденной способности смело смотреть в лицо искушению – о готовности отнюдь не рассудочной и не искусственной – о силе сопротивления, неизящной, если хотите, но ценной, – о безумном и блаженном упорстве перед ужасами в самом себе и наступающими извне, перед властью природы и соблазнительным развратом людей... Такое упорство зиждется на вере, которой не сокрушат ни факты, ни дурной пример, ни натиск идей. К черту идеи! Это – бродяги, которые стучатся в заднюю дверь вашей души, и каждая идея уносит с собой частичку вас самих, крупицу той веры в немногие простые истины, какой вы должны держаться, если хотите жить пристойно и умереть легко!

Все это прямого отношения к Джиму не имеет; но внешность его была так типична для тех добрых глуповатых малых, бок о бок с которыми чувствуешь себя приятно, – людей, не волнуемых причудами ума и, скажем,

развращенностью нервов. Такому парню вы по одному его виду доверили бы палубу – говорю образно и как профессионал. Я бы доверил, а кому это знать, как не мне! Разве я в свое время не обучал юношей уловкам моря, – уловкам, весь секрет которых можно выразить в одной короткой фразе, и, однако, каждый день нужно заново внедрять его в молодые головы, пока он не сделается составной частью всякой мысли наяву – пока не будут им окрашены все их юношеские сновидения! Море было великодушно ко мне, но когда я вспоминаю всех этих мальчиков, прошедших через мои руки, – иные теперь уже взрослые, иные утонули, но все они были добрыми моряками, – тогда мне кажется, что и я не остался в долгу у моря. Вернись я завтра на родину, – ручаюсь, что и двух дней не пройдет, как какой-нибудь загорелый молодой штурман поймает меня в воротах дока и свежий, низкий голос прозвучит над моей головой:

– Помните меня, сэр? Как! Да ведь я – такой-то. Был юнцом на таком-то судне. То было первое мое плавание.

И я вспомню ошеломленного юнца, ростом не выше спинки этого стула; мать и, быть может, старшая сестра стоят на пристани, стоят тихие, но слишком удрученные, чтобы помахать платком вслед судну, плавно скользящему к выходу из дока, или же отец средних лет раненько пришел проводить своего мальчика, остается здесь все утро, так как его, по-видимому, заинтересовало устройство брашпиля, мешкает слишком долго и в самую последнюю минуту сходит на берег, когда уже нет времени попрощаться. Боцман с кормы кричит мне протяжно:

– Подождите секунду, мистер помощник. Тут один джентльмен хочет сойти на берег... Пожалуйте, сэр. Чуть было не отправились в Талькагуано. Пора уходить; потихоньку... Отлично. Эй, отдавайте канаты!

Буксирные пароходы, дымя, словно адские трубы, завладевают судном и сбивают в пену старую реку; джентльмен на берегу смахивает с колен пыль; сострадательный стюард швырнул ему его зонтик. Все в порядке. Он принес свою маленькую жертву морю и теперь может отправляться домой, притворяясь, что нимало об этом не думает. А не пройдет и суток, как маленькая добровольная жертва будет жестоко страдать от морской болезни. Со временем, когда мальчик выучит все маленькие тайны и познает один великий секрет мастерства, он сумеет жить или умереть – в зависимости от того, что повелит ему море; а человек, который принял участие в этой безумной игре, – в игре, где

всегда выигрывает море, – почувствует удовольствие, когда тяжелая молодая рука хлопнет его по спине и беззаботный голос юного моряка скажет:

– Помните меня, сэр? Я такой-то. Был юнцом...

Уверяю вас, приятно это испытать. Вы чувствуете, что хоть однажды в жизни правильно подошли к работе. Да, меня хлопали по спине, и я морщился, ибо рука была тяжелая, и целый день у меня было легко на душе и спать я ложился, чувствуя себя менее одиноким благодаря этому дружескому удару по спине. Помню ли я юнца такого-то! Говорю вам, мне полагается распознавать людей по виду. Раз взглянув на того юношу, я доверил бы ему палубу и заснул бы сладким сном. А оказывается, это было бы небезопасно. Жутко становилось от этой мысли. Он так же внушал доверие, как новенький соверен; однако в его металле была какая-то адская лигатура. Сколько же? Совсем чуть-чуть, крохотная капелька чего-то редкого и проклятого – крохотная капелька! Однако, когда он стоял там с видом «на все наплевать!» – вы начинали думать, уж не вылит ли он весь из меди.

Я не мог этому поверить. Говорю вам, я хотел видеть, как он будет корчиться, – ведь есть же профессиональная честь! Двое других – не идущие в счет парни – заметили своего капитана и начали медленно к нему приближаться. Они переговаривались на ходу, а я их не замечал, словно они были невидимы невооруженному глазу. Они усмехались, – быть может, обменивались шутками. Я убедился, что у одного из них сломана рука, другой – долговязый субъект с седыми усами – был старший механик, личность во многих отношениях замечательная. Для меня они были ничто. Они приблизились. Шкипер тупо уставился в землю; казалось, от какой-то страшной болезни, таинственного действия неведомого яда он распух, принял неестественные размеры. Он поднял голову, увидел этих двоих, остановившихся перед ним, и, презрительно скривив свое раздутое лицо, открыл рот, – должно быть, чтобы с ними заговорить. Но тут какая-то мысль пришла ему в голову. Толстые лиловатые губы беззвучно сжались, решительно зашагал он, переваливаясь, к гхарри и начал дергать дверную ручку с таким зверским нетерпением, что, казалось, все сооружение вместе с пони повалится набок. Извозчик, оторванный от исследования своей ступни, проявил все признаки крайнего ужаса и, уцепившись обеими руками за козлы, обернулся и стал смотреть, как огромная туша влезала в его повозку. Маленькая гхарри с шумом раскачивалась и тряслась, а розовая складка на опущенной шее, огромные напрягшиеся ляжки, широченная полосатая спина, оранжевая и зеленая, и мучительные усилия этой пестрой отвратительной туши

производили впечатление чего-то нереального, смешного и жуткого, как те гротескные и яркие видения, которые пугают и дурманят во время лихорадки. Он исчез. Я ждал, что крыша расколется надвое, маленький ящик на колесах лопнет, словно коробка хлопка, но он только осел, зазвенели приплюснутые пружины, и внезапно опустились жалюзи. Показались плечи шкипера, протиснутые в маленькое отверстие, голова его пролезла наружу, огромная, раскачивающаяся, словно шар на привязи, – потная, злобная, фыркающая. Он замахнулся на возницу толстым кулаком, красным, как кусок сырого мяса. Он заревел на него, приказывая ехать, трогаться в путь. Куда? В Тихий океан?

Извозчик ударил хлыстом; пони захрапел, поднялся было на дыбы, затем галопом понесся вперед. Куда? В Апия? В Гонолулу? Шкипер мог располагать шестью тысячами миль тропического пояса, а точного адреса я не слышал. Храпящий пони в одно мгновение унес его в «вечность», и больше я его не видал. Этого мало: я не встречал никого, кто бы видел его с тех пор, как он исчез из поля моего зрения, сидя в ветхой маленькой гхарри, которая завернула за угол, подняв белое облако пыли. Он уехал, исчез, испарился; и нелепым казалось то, что он словно прихватил с собой и гхарри, ибо ни разу не встречал я с тех пор гнедого пони с разорванным ухом и томного извозчика тамила, разглядывающего свою больную ступню. Тихий океан и в самом деле велик; но нашел ли шкипер арену для развития своих талантов, или нет, – факт остается фактом: он унесся в пространство, словно ведьма на помеле. Маленький человек, с рукой на перевязи, бросился было за экипажем, блея на бегу:

– Капитан! Послушайте, капитан! Послушайте! – но, пробежав несколько шагов, остановился, понурил голову и медленно побрел назад. Когда задребезжали колеса, молодой человек круто повернулся. Больше никаких движений и жестов он не делал и снова застыл на месте, глядя вслед исчезнувшей гхарри.

Все это произошло значительно быстрее, чем я рассказываю, так как пытаюсь медлительными словами передать вам мгновенные зрительные впечатления. Через секунду на сцене появился клерк-полукровка, посланный Арчи присмотреть за бедными моряками с потерпевшей крушение «Патны». Преисполненный рвения, он выбежал с непокрытой головой, озираясь направо и налево, горя желанием исполнить свою мысль. Она была обречена на неудачу, поскольку дело касалось главной заинтересованной особы; однако он суетливо приблизился к оставшимся и почти тотчас же впутался в словопрение с парнем, у которого рука была на перевязи; оказывается, этот субъект горел желанием затеять ссору. Он заявил, что не намерен выслушивать приказания, – э, нет черт

возьми! Его не запугаешь враками, какие преподносит этот дерзкий писака-полукровка. Он не потерпит грубости от «подобной личности», даже если тот и не врет. Твердое его решение – лечь в постель.

– Если вы бы не были проклятым португальцем, – услышал я его рев, – вы бы поняли, что госпиталь – единственное подходящее для меня место.

Он поднес здоровый кулак к носу своего собеседника; начала собираться толпа; клерк растерялся, но, делая все возможное, чтобы поддержать свое достоинство, пытался объяснить свои намерения. Я ушел, не дожидаясь конца.

Случилось так, что в то время в госпитале лежал один из моих матросов; зайдя проведать его, за день до начала следствия, я увидел в палате для белых того самого маленького человечка; он метался, бредил, и рука его была в лубке. К величайшему моему изумлению, долговязый субъект с обвислыми усами также пробрался в госпиталь. Помню, я обратил внимание, как он улизнул во время ссоры – ушел, не то волоча ноги, не то подпрыгивая и стараясь не казаться испуганным. Видимо, он не был новичком в порту и в своем отчаянии направил стопы прямехонько в бильярдную и распивочную Мариани, находившуюся неподалеку от базара. Этот не поддающийся описанию бродяга Мариани был знаком с долговязым субъектом и где-то в другом порту имел случай потворствовать его порочным наклонностям; теперь он встретил его раболепно и, снабдив запасом бутылок, запер в верхней комнате своего гнусного вертепа. По-видимому, долговязый субъект опасался преследования и желал спрятаться. Много времени спустя Мариани, явившись как-то на борт моего судна, чтобы получить со стюарда деньги за сигары, сообщил мне, что для этого человека готов был сделать и большее, ни о чем не расспрашивая, в благодарность за какую-то гнусную услугу, давным-давно оказанную ему долговязым субъектом, – по крайней мере так я его понял. Он дважды ударил себя кулаком в смуглую грудь, выкатил огромные черные глаза – в них блеснули слезы – и воскликнул:

– Антонио никогда не забудет. Антонио никогда не забудет!

Что это была за грязная услуга, я так в точности и не узнал. Как бы то ни было, но он предоставил ему возможность обретаться под замком в комнате, где стоял стол, стул, на полу лежал матрац, в углу куча обвалившейся штукатурки; долговязый субъект, отдавшийся безрассудному страху, мог поддерживать свой дух теми напитками, какими располагал Мариани. Так продолжалось до тех пор, пока к вечеру третьего дня субъект, испустив несколько отчаянных воплей, не

почувствовал необходимости обратиться в бегство от легиона сороконожек. Он взломал дверь, одним прыжком слетел с шаткой маленькой лестницы, упал прямо на живот Мариани, затем вскочил и, как кролик, метнулся на улицу. Рано поутру полиция подобрала его на куче мусора. Сначала ему взбрело в голову, что его тащат на виселицу, и он геройски сражался за свою жизнь; когда же я присел к его кровати, он лежал очень спокойно, и в таком состоянии пребывал уже два дня. Его худое бронзовое лицо с белыми усами выглядело красивым и спокойным на фоне подушки; оно походило на лицо истомленного воина с детской душой, если бы не странная тревога, светившаяся в его как будто стеклянных блестящих глазах, словно чудовище, молчаливо притаившееся за застекленной рамой. Он был так удивительно спокоен, что у меня родилась нелепая надежда услышать от него какое-нибудь объяснение этого нашумевшего дела.

Не могу сказать, почему мне так хотелось разбираться в позорных деталях происшествия, которое в конце концов касалось меня лишь как члена известной корпорации; членов ее связывает лишь бесславный труд да кое-какие нормы поведения. Называйте это, если хотите, нездоровым любопытством; как бы то ни было, я, несомненно, хотел что-то разузнать. Быть может, подсознательно я надеялся найти какую-то тайную искупающую причину, благодетельное объяснение, хотя бы тень смягчающих обстоятельств. Теперь я понимаю, что надежда моя была несбыточна, ибо я надеялся одолеть самого стойкого призрака, созданного человеком, – гнетущее сомнение, обволакивающее, как туман, скрытое и гложущее, словно червь, более жуткое, чем неизбежность смерти, – сомнение в верховной власти твердо установленных норм. С ним тяжело бывает сталкиваться; оно-то и порождает панику или толкает на маленькие подлости; в нем кроется погибель. Верил ли я в чудо? И почему я так страстно его желал? Быть может, ради самого себя я искал хотя бы тени оправдания для этого молодого человека, которого никогда раньше не видал, но одна его внешность придавала особую окраску моим мыслям, – теперь, когда я знал об его слабости, и эта слабость казалась мне таинственной и ужасной, словно свидетельствовала о судьбе-разрушительнице, подстерегающей всех нас, – тех, кто в молодости был похож на него.

Боюсь, что таков был тайный мотив моего выслеживания. Да, несомненно, я ждал чуда. Единственное, что кажется мне теперь, по прошествии многих лет, чудесным, это – безграничная моя глупость. Я действительно ждал от этого пришибленного и подозрительного инвалида какого-то заклятия против духа сомнений. И, должно быть, я был на грани отчаяния, если, не теряя времени, после нескольких дружелюбных фраз, на которые тот отвечал с вялой

готовностью, как и подобает всякому порядочному больному, я произнес слово «Патна», облачив его в деликатный вопрос, – словно опутав шелком.

Деликатным я был умышленно: я не хотел его испугать. До него мне не было дела; к нему я не чувствовал ни злобы, ни жалости: его переживания не имели на малейшего значения, его искупление меня не касалось. Он построил свою жизнь на мелких подлостях и больше уже не мог внушать ни отвращения, ни жалости. Он повторил вопросительно: – «Патна»? – затем, казалось, напряг память и сказал:

– Правильно. Я здесь старожил. Я видел, как она пошла ко дну.

Услыхав такую нелепую ложь, я готов был дать исход своему негодованию, но тут он спокойно добавил:

– Она кишела пресмыкающимися.

Я призадумался. Что он хотел этим сказать? В стеклянных его глазах, устрашающе серьезно смотревших в мои глаза, казалось, застыл ужас.

– Они подняли меня с койки в среднюю вахту посмотреть, как она тонет, – продолжал он задумчивым тоном.

Голос его вдруг устрашающе окреп. Я раскаивался в своей глупости. Не видно было в палате белоснежного чепца сиделки; передо мной тянулся длинный ряд незанятых железных кроватей; лишь на одной из них сидел тощий и смуглый человек с белой повязкой на лбу, – жертва несчастного случая, происшедшего где-то на рейде. Вдруг мой занятый больной протянул руку, тонкую, как щупальце, и вцепился в мое плечо.

– Я один мог разглядеть. Все знают, какой у меня зоркий глаз. Вот, должно быть, зачем они меня позвали. Никто из них не видал, как она тонула, но они видели, как она скрылась под водой, а тогда все заорали... вот так...

Дикий вопль заставил меня содрогнуться.

– Ох, да заткните ему глотку! – раздраженно завизжала жертва несчастного случая.

– Должно быть, вы мне не верите, – продолжал тот с безграничным высокомерием. – Говорю вам, по эту сторону Персидского залива не найдется ни одного человека с таким зрением, как у меня. Посмотрите под кровать.

Конечно, я тотчас же наклонился. Хотел бы я знать, кто бы этого не сделал!

– Что вы там видите? – спросил он.

– Ничего, – сказал я, ужасно пристыженный.

Он смотрел на меня уничтожающим, презрительным взглядом.

– Вот именно, – сказал он. – А если бы поглядел я – я бы увидел. Говорю вам, ни у кого нет таких глаз, как у меня.

Снова он вцепился в мое плечо и притянул меня к себе, желая сделать какое-то конфиденциальное сообщение.

– Миллионы розовых жаб. Ни у кого нет таких глаз, как у меня. Это хуже, чем смотреть на тонущее судно. Миллионы розовых жаб. Я могу смотреть на тонущие суда и целый день курить трубку. Почему мне не отдают моей трубки? Я бы курил и следил за этими жабами. Судно кишело ими. Знаете ли, за ними нужно следить.

Он шутливо подмигнул. Пот капал у меня со лба; тиковая тужурка прилипла к мокрой спине; вечерний ветерок стремительно проносился над рядом незанятых кроватей, жесткие складки занавесей шевелились, стуча кольцами о медные прутья, одеяла на кроватях развевались, бесшумно приподнимаясь над полом, а я продрог до мозга костей. Мягкий ветерок тропиков играл в пустынной палате, как зимний ветер, разгуливающий по старой риге на моей родине.

– Не давайте ему орать, мистер! – крикнула издали жертва несчастного случая; этот отчаянный сердитый крик пронесся по палате, словно трепетный зов в туннеле. Цепкая рука тянула меня за плечо; он многозначительно подмигнул.

– Знаете ли, судно так и кишело ими, и нам пришлось убраться потихоньку, – быстро залепетал он. – Все розовые. Розовые – и огромные, как мастифы. На лбу

один глаз, а вокруг пасти отвратительные когти. Уф! Уф! Он задержался, словно через него пропустили гальванический ток, под одеялом обрисовались худые ноги; потом он выпустил мое плечо и стал ловить что-то в воздухе; тело его трепетало, как ненатянутая струна арфы. И вдруг ужас, таившийся в стеклянных глазах, прорвался наружу. Его лицо – спокойное, благородное лицо старого вояки – исказилось на моих глазах: оно сделалось отвратительно хитрым, настороженным, безумно испуганным. Он сдержал вопль.

– Шш... Что они там сейчас делают? – спросил он, украдкой указывая на пол и из предосторожности понижая голос. Я понял значение этого жеста, и мне стала противна моя собственная проницательность.

– Они все спят, – ответил я, приглядываясь к нему. Правильно. Этого-то он и ждал; именно эти слова и могли его успокоить.

Он перевел дыхание

– Шш... Тише, тише. Я здесь старожил. Знаю этих тварей. Надо размозжить голову первой, которая пошевелится. Слишком их много, и судно не продержится дольше десяти минут.

Он снова заохал.

– Живей! – закричал он вдруг, и крик его перешел в протяжный вопль. – Они все проснулись... их миллионы! Ползут по мне! Подождите! Подождите! Я их буду давить, как мух! Да подождите же меня! На помощь! На по-о-омощь!

Несмолкающий вой завершил мое поражение. Я видел, как жертва несчастного случая в отчаянии воздела обе руки к забинтованной голове; фельдшер в халате, доходившем ему до подбородка, появился в дальнем конце палаты – маленькая фигурка, словно видимая в телескоп. Я признал себя побежденным и, не теряя времени, выскочил в одну из застекленных дверей на галерею. Вой преследовал меня; словно мщение. Я очутился на пустынной площадке, и вдруг все вокруг затихло; я спустился по блестящим, не покрытым коврой дорожкой ступеням в тишине, давшей мне возможность собраться с мыслями. Внизу я встретил одного из врачей госпиталя; он шел по двору и остановил меня.

– Зашли проводить своего матроса, капитан? Думаю, мы можем завтра его выписать, хотя эти молодцы понятия не имеют о том, что следует беречь здоровье. Знаете ли, к нам попал старший механик с того паломнического судна. Любопытный случай. Один из худших видов *delirium tremens*. Три дня он пил запоем в трактире этого грека или итальянца. Результаты налицо. Говорят, в день он выпивал по четыре бутылки бренди. Изумительно, если это только правда. Можно подумать, что внутренности его выстланы листовым железом. Ну, голова-то, конечно, не выдержала, но любопытнее всего то, что в бреде его замечается некая система. Я пытаюсь выяснить. Необычное явление – нить логики при *delirium tremens*. По традиции, ему следовало бы видеть змей, но он их не видит. В наше время добрые, старые традиции не в почете. Его преследуют видения... э... лягушечьи... Ха-ха-ха! Нет, серьезно, я еще не встречал такого интересного субъекта среди запойных пьяниц. Видите ли, после такого возлияния ему полагается умереть. О, это здоровенный парень. А ведь двадцать четыре года прожил под тропиками. Право же, вам следует взглянуть на него. И вид у этого старого пьянчужки благородный. Самый замечательный человек, какого я когда-либо встречал... конечно, с медицинской точки зрения. Хотите посмотреть?

Я слушал его, проявляя из вежливости надлежащий интерес, но потом с сожалением прошептал, что у меня нет времени, и поспешил пожать ему руку.

– Послушайте, – крикнул он мне вслед, – он не может явиться на суд. Как вы думаете, его показание было бы существенно важно?

– Нисколько, – отозвался я, подходя к воротам.

Глава шестая

Власти придерживались, видимо, того же мнения. Судебного следствия не отложили. Оно состоялось в назначенный день, чтобы удовлетворить правосудие, и собрало большую аудиторию, ибо привлекло всеобщее внимание. Не было никаких сомнений относительно фактов, – одного существенного факта, хочу я сказать. Каким образом «Патна» получила повреждения, установить было невозможно; суд не рассчитывал это сделать, и во всем зале не было ни одного человека, которого бы интересовал этот вопрос. Однако, как я уже сказал, все

моряки порта были налицо, так же как и представители деловых кругов, связанных с морем. Знали они о том или нет, но сюда их привлек интерес чисто психологический; они ждали какого-то важного разоблачения, которое вскрыло бы силу, могущество, ужас человеческих эмоций. Естественно, такого разоблачения быть не могло. Допрос единственного человека, способного и желающего отвечать, тщетно вертелся вокруг хорошо известного факта, а вопросы были столь же поучительны, как постукивание молотком по железному ящику с целью узнать, что лежит внутри. Однако официальное следствие и не могло быть иным. Оно поставило себе задачу добиться ответа не на основной вопрос «почему?», а на несущественный «как?».

Молодой человек мог бы им ответить, но, хотя именно это и интересовало всю аудиторию, вопросы по необходимости отвлекали от того, что для меня, например, являлось той единственной правдой, какую стоило узнать. Не можете же вы ждать, чтобы должностные лица исследовали душевное состояние человека, задаваясь вопросами: не виновата ли во всем только его печень? Их дело было разбираться в последствиях, и, по правде сказать, чиновник магистратуры и два морских асессора не пригодны для чего-либо иного. Я не говорю, что эти парни были глупы. Председатель был очень терпелив. Один из асессоров был шкипер парусного судна – человек с рыжеватой бородкой и благочестиво настроенный. Другим асессором был Брайерли. Великий Брайерли! Кое-кто из вас слышал, должно быть, о великом Брайерли – капитане всем известного судна, принадлежащего пароходству «Голубая звезда». Он-то и был асессором.

Казалось, он чрезвычайно тяготился оказанной ему честью. За всю свою жизнь он не сделал ни одной ошибки, не знал несчастных случаев и неудач, в его карьере не бывало заминок. Он был как будто одним из тех счастливицов, которым неведомы колебания и еще того менее – неуверенность в себе. В тридцать два года он командовал одним из лучших судов Восточного торгового флота; мало того – он считал свое судно исключительным. Второго такого судна не было во всем мире; думаю, если спросить его напрямик, он признался бы, что и такого командира нигде не сыщешь. Выбор пал на достойного. Остальные люди, не командовавшие стальным пароходом «Осса», который всегда делал шестнадцать узлов, были довольно-таки жалкими созданиями. Он спасал тонущих на море, спасал суда, потерпевшие аварию, имел золотой хронометр, поднесенный ему по подписке, бинокль с подобающей надписью, который был получен им за вышеупомянутые заслуги от какого-то иностранного правительства. Он хорошо знал цену своим заслугам и своим наградам. Пожалуй, он мне нравился, хотя я думаю, что иные – к тому же люди скромные и

дружелюбные – попросту его не выносили. Я нимало не сомневаюсь, что на меня он смотрел свысока, – будь бы владыкой Востока и Запада; в его присутствии вы чувствовали бы себя существом низшим! Однако я на него по-настоящему не обижался. Видите ли, он презирал меня не за какие-либо мои личные качества, не за то, что я собой представлял. Я был величиной, в счет не идущей, ибо не удостоился быть единственным человеком на Земле, – я не был Монтегю Брайерли, капитаном «Оссы», владельцем золотого хронометра, поднесенного по подписке, и бинокля в серебряной оправе, свидетельствующих об искусстве в мореплавании и неукротимой отваге; я не обладал острым сознанием своих достоинств и своих наград, не говоря уже о том, что у меня не было такой черной охотничьей собаки, как у Брайерли, а эта собака была исключительной, и ни один пес не относился к человеку с такой любовью и преданностью, как он. Несомненно, когда все это ставится вам на вид, вы испытываете некоторое раздражение. Однако так же фатально, как и мне, не повезло еще миллиарду двумстам миллионам человек, и, поразмыслив, я пришел к заключению, что могу примириться с его добродушной и презрительной жалостью, ибо что-то в этом человеке влекло меня к нему. Это влечение я так и не уяснил себе, но бывали минуты, когда я ему завидовал. Уколы жизни задевали его самодовольную душу не глубже, чем царапает булавка гладкую поверхность скалы. Этому можно было позавидовать. Когда он сидел подле непритязательного бледного судьи, его самодовольство казалось мне и всему миру твердым, как гранит. Вскоре после этого он покончил с собой.

Не удивительно, что он тяготился делом Джима, и, в то время как я едва ли не со страхом размышлял о безграничном его презрении к молодому человеку, он, вероятно, молчаливо расследовал свое собственное дело. Должно быть, приговор был обвинительный, а тайну показаний он унес с собой, бросившись в море. Если я понимаю что-нибудь в людях, дело это было крайней важности – один из тех пустяков, что пробуждают мысль; мысль вторгается в жизнь, и человек, не имея привычки к такому обществу, считает невозможным жить. У меня есть данные, я знаю, что тут дело было не в деньгах, не в пьянстве и не в женщине. Он прыгнул за борт через неделю после окончания следствия и меньше чем через три дня после того, как ушел в плавание, – словно там, в определенном месте, он увидел внезапно в волнах врата иного мира, распахнувшиеся, чтобы его принять. Однако это не было внезапным импульсом. Его седовласый помощник, первоклассный моряк – славный старик, но по отношению к своему командиру самый грубый штурман, какого я когда-либо видел, – со слезами на глазах рассказывал эту историю. По словам помощника, когда он утром вышел на палубу, Брайерли находился в штурманской рубке и что-то писал.

– Было без десяти минут четыре, – так рассказывал помощник, – и среднюю вахту, конечно, еще не сменили. На мостике я заговорил со вторым помощником, а капитан услышал мой голос и позвал меня. Сказать вам правду, капитан Марлоу, мне здорово не хотелось идти, – со стыдом признаюсь, я терпеть не мог капитана Брайерли. Никогда мы не можем распознать человека. Его назначили, обойдя очень многих, не говоря уже обо мне, а к тому же он чертовски умел вас унижить: «с добрым утром» он говорил так, что вы чувствовали свое ничтожество. Я никогда не разговаривал с ним, сэр, иначе, как по долгу службы, да и то мог только принудить себя быть вежливым.

(Он польстил себе. Я частенько удивлялся, как может Брайерли терпеть такое обращение.)

– У меня жена и дети, – продолжал он. – Десять лет я служил компании и, по глупости своей, все ждал командования. Вот он и говорит мне: «Пожалуйста сюда, мистер Джонс», – таким высокомерным тоном: «Пожалуйста сюда, мистер Джонс». Я вошел.

«Отметим положение судна», – говорит он, наклоняясь над картой, а в руке у него циркуль. По правилам, помощник должен это сделать по окончании своей вахты. Однако я ничего не сказал и смотрел, как он отмечал крохотным крестиком положение судна и писал дату и час. Вот и сейчас вижу, как он выводит аккуратные цифры; семнадцать, восемь, четыре до полудня. А год был указан красными чернилами наверху карты. Больше года капитан Брайерли никогда не пользовался одной и той же картой. Та карта теперь у меня. Написав, он встал, поглядел на карту, улыбнулся, потом посмотрел на меня и говорит:

«Тридцать две мили держитесь этого курса, и все будет в порядке, а потом можете повернуть на двадцать градусов к югу».

В тот рейс мы проходили к северу от Гектор-Бэнк. Я сказал: «Да, сэр!» – и подивился, чего он так хлопочет: ведь все равно я должен был вызвать его перед тем, как изменить курс. Тут пробило восемь склянок; мы вышли на мостик, и второй помощник, прежде чем уйти, доложил, по обыкновению:

«Семьдесят один по лагу».

Капитан Брайерли взглянул на компас, потом поглядел вокруг. Небо было темное и чистое, а звезды сверкали ярко, как в морозную ночь в высоких широтах. Вдруг он произнес со вздохом:

«Я пойду на корму и сам поставлю для вас лаг на нуль, чтобы не вышло ошибки. Еще тридцать две мили держитесь этого курса, и тогда вы будете в безопасности. Ну, скажем, поправка к лагу – процентов шесть. Значит, еще тридцать миль этим курсом, а затем возьмете лево руля сразу на двадцать градусов. Не стоит идти лишних две мили. Не так ли?»

Никогда я не слышал, чтобы он так много говорил, – и бесцельно, как мне казалось. Я ничего не ответил. Он спустился по трапу, а собака, которая – куда бы он ни шел – днем и ночью следовала за ним по пятам, тоже побежала вниз. Я слышал, как стучали его каблуки по палубе; потом он остановился и заговорил с собакой:

«Назад, Ровер! На мостик, дружище! Ступай, ступай!»

Потом крикнул мне из темноты:

«Пожалуйста, закройте собаку в рубке, мистер Джонс».

В последний раз я слышал его голос, капитан Марлоу. То были последние слова, какие он произнес в присутствии живого существа, сэр.

Тут голос старика дрогнул.

– Видите ли, он боялся, как бы бедный пес не прыгнул вслед за ним, – продолжал он, заикаясь. – Да, капитан Марлоу, он установил для меня лаг; он – поверите ли? – даже смазал его капелькой масла: лейка для масла стояла вблизи, – там, где он ее оставил. В половине шестого помощник боцмана пошел со шлангом на корму мыть палубу; вдруг он бросает работу и бежит на мостик.

«Не пройдете ли вы, – говорит, – на корму, мистер Джонс? Странную я тут нашел штуку. Мне бы не хотелось к ней притрагиваться».

То был золотой хронометр капитана Брайерли, старательно подвешенный за цепочку к поручням.

Как только я его увидел, что-то меня словно ударило, сэр. Ноги мои подкосились. И я понял, я точно своими глазами видел, как он прыгнул за борт; я бы мог даже сказать, где он остался. Лаг показывал восемнадцать и три четверти мили; у грот-мачты не хватало четырех железных кофель-нагелей. Должно быть, он рассовал их по карманам, чтобы легче пойти ко дну. Но, Боже мой, что значат четыре железных кофель-нагеля для такого сильного человека, как капитан Брайерли? Быть может, его самоуверенность поколебалась чуточку в самый последний момент. Думаю, то был единственный раз в его жизни, когда он проявил слабость. Но я готов за него поручиться: раз прыгнув за борт, он уже не пытался плыть; а упав он за борт случайно, у него хватило бы мужества целый день продержаться на воде. Да, сэр. Второго такого не найти – я слышал однажды, как он сам это сказал. Во время средней вахты он написал два письма – одно компании, другое мне. Он мне давал всякие инструкции относительно плавания, – а ведь я уже служил во флоте, когда он еще на свет не родился, – и разные советы, как мне держать себя в Шанхае, чтобы получить командование «Оссой». Капитан Марлоу, он мне писал, словно отец своему любимому сыну, а ведь я был на двадцать пять лет старше его и отведал соленой воды, когда он еще не носил штанишек. В своем письме судовладельцам – оно было не запечатано, чтобы я мог прочесть, – он говорил, что всегда исполнял свой долг – вплоть до этого момента, – и даже теперь не обманывает их доверия, так как оставляет судно самому компетентному моряку, какого только можно найти. Это меня он имел в виду, сэр, – меня! Дальше он писал, что, если этот последний шаг не лишит его их доверия, они примут во внимание мою верную службу и его горячую рекомендацию, когда будут искать ему заместителя. И много еще в таком роде, сэр. Я не верил своим глазам. У меня в голове помутилось, – продолжал старик в страшном волнении и вытер уголок глаза концом большого пальца, широкого, как шпатель.

– Можно было подумать, сэр, что он прыгнул за борт единственно для того, чтобы дать бедному человеку возможность продвинуться. И так он это стремительно проделал, что я целую неделю не мог опомниться... к тому же еще я считал, что моя карьера обеспечена. Но не тут-то было! Капитан «Палиона» был переведен на «Оссу» – явился на борт в Шанхае. Маленький франтик, сэр, в сером клетчатом костюме, и пробор по середине головы.

«Э... я... э... я ваш новый капитан, мистер... мистер... э... Джонс».

Капитан Марлоу, он словно выкупался в духах – так и несло от него. Должно быть, он подметил мой взгляд и потому-то и начал заикаться. Он забормотал о том, что я, естественно, должен быть разочарован... но тем не менее мне следует знать: его старший помощник назначен командиром «Палиона»... он лично тут ни при чем... Компания лучше нас знает... ему очень жаль...

«Не обращайтесь внимания на старого Джонса, сэр, – говорю я, – он к этому привык, черт бы побрал его душу».

Я сразу понял, что оскорбил его нежный слух; а когда мы в первый раз уселись вместе завтракать, он начал препротивно критиковать то да другое на судне. Голос у него был, как у Панча и Джуди[4 - Панч и Джуди – герои народного кукольного театра Англии.]. Я стиснул зубы, уставился в свою тарелку и терпел, пока хватало сил. Наконец не выдержал и что-то сказал; так он вскочил на цыпочки, взъерошил все свои красивые перышки, словно бойцовый петушок.

«Вы скоро узнаете, что имеете дело не с таким человеком, как покойный капитан Брайерли».

«Это мне уже известно», – говорю я очень мрачно и делаю вид, будто занят своей котлетой.

«Вы – старый грубиян, мистер... э... Джонс, и компания вас и считает таким!» – взвизгнул он.

А слуги стоят кругом и слушают, растянув рот до ушей.

«Может, я и крепкий орешек, – отвечаю, – а все-таки мне невтерпеж видеть, что вы сидите в кресле капитана Брайерли»,

И кладу нож и вилку.

«Вам самому хотелось бы сидеть в этом кресле – вот где собака зарыта!» – огрызнулся он.

Я вышел из кают-компании, собрал пожитки и, раньше чем явились портовые грузчики, очутился со всем своим скарбом на набережной. Да-с. Выброшен на

берег после десяти лет службы... а за шесть тысяч миль отсюда бедная жена и четверо детей только и держатся моим половинным жалованьем. Да, сэр! Но я не мог терпеть, чтобы оскорбляли капитана Брайерли, и готов был идти на все. Он мне оставил бинокль – вот он; и поручил мне свою собаку – вот она. Эй, Ровер! бедняга! Ровер, где капитан?

Собака тоскливо посмотрела на нас своими желтыми глазами, уныло тявкнула и забила под стол.

Разговор происходил года через два после этого на борту старой развалины «Файр-Куин», которой командовал Джонс. Командование он получил благодаря забавному случаю – после Матерсона, сумасшедшего Матерсона, как его обычно называли; того самого, что, бывало, болтался в Хайфоне до оккупации.

Старик снова загнусавил:

– Да, сэр, здесь-то, во всяком случае, будут помнить капитана Брайерли. Я подробно написал его отцу и ни слова не получил в ответ – ни «благодарю вас», ни «убирайтесь к черту» – ничего! Может быть, они вовсе не хотели о нем слышать.

Вид этого старого Джонса с водянистыми глазами, вытирающего лысую голову красным бумажным платком, тоскливое тявканье собаки, грязная, засиженная мухами каюта – ковчег воспоминаний об умершем – все это набрасывало вуаль невыразимо жалкого пафоса на памятную фигуру Брайерли: посмертное мщение судьбы за эту веру в его собственное величие – веру, которая почти обманула жизнь со всеми ее неизбежными ужасами. Почти! А может быть – и совсем. Кто знает, с какой лестной для него точки зрения рассматривал он собственное свое самоубийство?

– Капитан Марлоу, как вы думаете, почему он покончил с собой? – спросил Джонс, сжимая ладони. – Почему? Это превосходит мое понимание. Почему?

Он хлопнул себя по низкому морщинистому лбу.

– Если бы он был беден, стар, увяз в долгах... неудачник... или сошел с ума... Но он был не из тех, что сходят с ума; э, нет, можете мне поверить! Чего помощник не знает о своем шкипере, того и знать не стоит. Молодой, здоровый,

обеспеченный, никаких забот... Вот я сижу здесь иногда и думаю, думаю, пока в голове у меня не загудит. Ведь была же какая-то причина.

– Можете не сомневаться, капитан Джонс, – сказал я, – причина была не из тех, что могут потревожить нас с вами.

И тут словно свет озарил затемненный рассудок бедного Джонса: напоследок старик произнес слова, поражающие своей глубиной. Он высморкался и скорбно закивал головой:

– Да, да! Ни вы, ни я, сэр, никогда не были о себе такого высокого мнения.

Конечно, воспоминания о последнем моем разговоре с Брайерли окрашены тем, что я знаю о его самоубийстве, происшедшем так скоро после этого разговора. В последний раз я говорил с ним в то время, когда шло судебное следствие. После первого заседания мы вместе вышли на улицу. Он был раздражен, что я отметил с удивлением: снисходя до беседы, он всегда бывал совершенно хладнокровен и относился к своему собеседнику с какой-то веселой терпимостью, словно самый факт его существования считал забавной шуткой.

– Они заставили меня принять участие в разборе дела, – начал он, а затем стал жаловаться на неудобство ходить каждый день в суд. – Одному Богу известно, сколько времени это протянется. Дня три, я думаю.

Я слушал его молча. По моему мнению, это был лучший способ держаться в стороне.

– Что толку? Это – глупейшее дело, какое только можно себе представить, – продолжал он с жаром.

Я заметил, что другого выхода не было. Он перебил меня с каким-то сдержанным бешенством:

– Все время я чувствую себя дураком.

Я поднял на него глаза. Это было уже слишком – для Брайерли, говорящего о самом себе. Он остановился, ухватил меня за лацкан пиджака и тихонько его

дернул.

– Зачем мы терзаем этого молодого человека? – спросил он.

Этот вопрос был так созвучен с похоронным звоном моих мыслей, что я отвечал тотчас же, мысленно представив себе улизнувшего ренегата:

– Пусть меня повесят, если я знаю, но он сам идет на это.

Я был изумлен, когда он ответил мне в тон и произнес фразу, которая до известной степени могла показаться загадочной.

– Ну да. Разве он не понимает, что его негодяй шкипер улизнул? Чего же он ждет? Его ничто не спасет. С ним кончено.

Несколько шагов мы прошли молча.

– Зачем жрать всю эту грязь? – воскликнул он, употребляя энергичное восточное выражение – пожалуй, единственное проявление энергии к востоку от пятидесятого меридиана.

Я подивился ходу его мыслей, но теперь считаю это вполне естественным: бедняга Брайерли думал, должно быть, о самом себе. Я заметил ему, что, как известно, шкипер «Патны» устлал свое гнездышко пухом и мог всюду раздобыть денег, чтобы удрать. С Джимом дело обстояло иначе: власти временно поместили его в Доме моряка, и, по всем вероятностям, у него в кармане не было ни единого пенни. Нужно иметь некоторую сумму денег, чтобы удрать.

– Нужно ли? Не всегда, – сказал он с горьким смехом. Я сделал еще какое-то замечание, а он ответил:

– Ну так пускай он зароется на двадцать футов в землю и там и остается! Клянусь небом, я бы это сделал!

Почему-то его тон задел меня, и я сказал:

– Есть своего рода мужество в том, чтобы выдержать это до конца, как делает он, а ведь ему хорошо известно, что никто не потрудится его преследовать, если он удержит.

– К черту мужество! – проворчал Брайерли. – Такое мужество не поможет человеку держаться прямого пути, и я его в грош не ставлю. Вам следовало бы сказать, что это своего рода трусость, дряблость. Вот что я вам предлагаю: я дам двести рупий, если вы приложите еще сотню и уговорите парня убраться завтра поутру. Он производит впечатление порядочного человека – он поймет. Должен понять! Слишком отвратительна эта огласка: можно сгореть со стыда, когда серанги, ласкары, рулевые дают показания. Омерзительно! Неужели вы, Марлоу, не чувствуете, как это омерзительно? Вы, моряк? Если он скроется, все это сразу прекратится.

Брайерли произнес эти слова с необычным жаром и уже полез за бумажником. Я остановил его и холодно сказал, что, на мой взгляд, трусость этих четверых не имеет такого большого значения.

– А еще называете себя моряком! – гневно воскликнул он.

Я сказал, что действительно называю себя моряком, и – смею надеяться – не ошибаюсь. Он выслушал и сделал рукой жест, который словно лишал меня моей индивидуальности, смешивал с толпой.

– Хуже всего то, – объявил он, – что у вас, ребята, нет чувства собственного достоинства. Вы мало думаете о том, что должны собой представлять.

Все это время мы медленно шли вперед и теперь остановились против Управления порта, неподалеку от того места, где необъятный капитан «Патны» исчез, как крохотное перышко, подхваченное ураганом. Я улыбнулся. Брайерли продолжал:

– Это позор. Конечно, в нашу среду попадают всякие, среди нас бывают и отъявленные негодяи. Но должны же мы, черт возьми, сохранять профессиональное достоинство, если не хотим превратиться в бродячих лудильщиков! Нам доверяют. Понимаете – доверяют! По правде сказать, мне нет дела до всех этих азиатов-паломников, но порядочный человек не поступил бы так, даже если бы судно было нагружено тюками лохмотьев. Только притязание

на такого рода порядочность связывает нас друг с другом, а больше ничто... Подобные поступки подрывают доверие. Человек может прожить всю свою жизнь на море и не встретиться с опасностью, которая требует величайшей выдержки. Но если опасность встретишь... Да!.. Если бы я... – Он оборвал фразу и заговорил другим тоном: – Я вам дам двести рупий, Марлоу, а вы поговорите с этим парнем. Черт бы его побрал! Хотел бы я, чтобы он никогда сюда не являлся. Дело в том, что мои родные, кажется, знают его семью. Его отец – приходский священник. Помню, я встретил его в прошлом году, когда жил у своего двоюродного брата в Эссексе. Если не ошибаюсь, старик был без ума от своего сына моряка. Ужасно! Я не могу сделать это сам, но вы...

Таким образом, благодаря Джиму я на секунду увидел подлинное лицо Брайерли за несколько дней до того, как он доверил морю и себя самого и свою личину. Конечно, я уклонился от вмешательства. Тон, каким были сказаны эти последние слова «но вы...» (у бедняги Брайерли это сорвалось бессознательно), казалось, намекал на то, что я достоин не большего внимания, чем какая-нибудь букашка, а в результате я с негодованием отнесся к его предложению и окончательно убедился в том, что судебное следствие является суровым наказанием для Джима, и, подвергаясь ему – в сущности добровольно, – он как бы искупает до известной степени свое отвратительное преступление. Раньше я не был в этом так уверен. Брайерли ушел рассерженный. В то время его настроение казалось мне более загадочным, чем теперь.

На следующий день, поздно явившись в суд, я сидел один. Конечно, я не забыл об этом разговоре с Брайерли, а теперь они оба сидели передо мной. Поведение одного казалось угрюмо наглым, физиономия другого выражала презрительную скуку; однако первое могло быть не менее ошибочным, чем второе, а я знал, что физиономия Брайерли лжет: Брайерли не скучал – он был раздражен; следовательно, и Джим, быть может, вовсе не был наглым. Это согласовалось с моей теорией. Я считал, что он потерял всякую надежду. Вот тогда-то я и встретился с ним глазами. Взгляд, какой он мне бросил, мог уничтожить всякое желание с ним заговорить. Принимая любую гипотезу – то ли он нагл, то ли в отчаянии, – я чувствовал, что ничем не могу ему помочь. То был второй день разбора дела. Вскоре после того, как мы обменялись взглядами, допрос был снова отложен на следующий день. Белые начали пробираться к выходу. Джиму, еще раньше велели сойти с возвышения, и он мог выйти одним из первых. Я видел его широкие плечи и голову на светлом фоне открытой двери. Пока я медленно шел к выходу, разговаривая с кем-то, – какой-то незнакомый человек случайно ко мне обратился, – я мог видеть его из зала суда; облокотившись на балюстраду веранды, он стоял спиной к потоку людей, спускающемуся по

ступеням. Слышались тихие голоса и шарканье ног.

Теперь должно было разбираться дело об избиении какого-то ростовщика. Обвиняемый – почтенный крестьянин с прямой белой бородой – сидел на циновке как раз за дверью; вокруг него сидели на корточках или стояли его сыновья, дочери, зятья, жены, – думаю, добрая половина деревни собралась здесь. Стройная темнокожая женщина с полуобнаженной спиной, голым черным плечом и с тонким золотым кольцом, продетым в нос, вдруг заговорила пронзительным, крикливым голосом. Человек, шедший со мной, невольно поднял на нас глаза. Мы уже вышли и очутились как раз за могучей спиной Джима.

Не знаю, эти ли крестьяне привели с собой желтую собаку. Как бы то ни было, но собака была налицо и, как всякая туземная собака, украдкой шныряла между ногами проходящих; мой спутник споткнулся об нее. Она, не взвизгнув, отскочила в сторону, а незнакомец, слегка повысив голос, сказал с тихим смехом.

– Посмотрите на эту трусливую тварь!

Поток людей разъединил нас. Меня на секунду приперли к стене, а незнакомец спустился по ступеням и исчез. Я видел, как Джим круто повернулся. Он шагнул вперед и преградил мне дорогу. Мы были одни; он посмотрел на меня с видом упрямым и решительным. Я чувствовал себя так, словно меня остановили в дремучем лесу. Веранда к тому времени опустела; шум затих в зале суда; там, в доме, спустилось великое молчание, и только откуда-то издалека донесся жалобный восточный голос. Собака, не успевшая проскользнуть в дверь, уселась и начала ловить блох.

– Вы заговорили со мной? – тихо спросил Джим, наклоняясь вперед, но не ко мне, а словно наступая на меня. – Не знаю, понятно ли вам, что я хочу сказать?

Я тотчас же ответил:

– Нет.

Что-то в звуке этого спокойного голоса подсказало мне, что следует быть настороже. Я следил за ним. Это очень походило на встречу в лесу, только нельзя было предугадать исход, раз он не мог потребовать ни моих денег, ни

моей жизни – ничего, что бы я попросту отдал или стал защищать с чистой совестью.

– Вы говорите – нет, – сказал он, очень мрачный, – но я слышал.

– Какое-то недоразумение, – возразил я, ничего не понимая, но не сводя глаз с его лица. Я следил, как оно потемнело, словно небо перед грозой: тени незаметно набегали на него и таинственно сгущались в тишине перед назревающей вспышкой.

– Насколько мне известно, я не открывал рта в вашем присутствии, – заявил я, что соответствовало действительности. Нелепая стычка начинала меня злить. Теперь я понимаю, что в тот момент мне грозила расправа – настоящая кулачная расправа. Думаю, я смутно чувствовал эту возможность. Не то чтобы он по-настоящему мне угрожал. Наоборот – он был страшно пассивен, но он нахмурился и хотя не производил впечатления человека исключительной силы, но, казалось, свободно мог прошибить стену. Однако я подметил и благоприятный симптом: Джим как будто глубоко задумался и стал колебаться; я это принял как дань моему неподдельно искреннему тону и манерам. Мы стояли друг против друга. В зале суда разбиралось дело о нападении и избиении. Я уловил слова: «Буйвол... палка... в великом страхе...»

– Почему вы все утро на меня смотрели? – сказал наконец Джим. Он поднял глаза, потом снова уставился в пол.

– Вы думали, что все будут сидеть с опущенными глазами, щадя ваши чувства? – отрезал я, не желая принимать покорно его нелепые выпады. Он снова поднял глаза и на этот раз прямо посмотрел мне в лицо.

– Нет. Так оно и должно быть, – произнес он, словно взвешивая истину этого положения. – Так оно и должно быть. На это я иду. Но только, – тут он заговорил быстрее, – я никому не позволю оскорблять меня за стенами суда. С вами был какой-то человек. Вы говорили с ним... о да, я знаю, все это прекрасно. Вы говорили с ним, но так, чтобы я слышал...

Я заверил его, что он жестоко заблуждается. Я понятия не имел, как это могло произойти.

– Вы думали, что я побоюсь ответить на оскорбление, – сказал он с легкой горечью. Я был настолько заинтересован, что подмечал малейшие оттенки и выражения, но по-прежнему ничего не понимал. Однако что-то в этих словах – или, быть может, интонация этой фразы – побудило меня отнестись к нему снисходительно. Неожиданная стычка перестала меня раздражать. Он заблуждался, произошло какое-то недоразумение, и я предчувствовал, что по характеру своему оно было отвратительно и прискорбно. Мне не терпелось поскорей и возможно приличнее закончить эту сцену, как не терпится человеку оборвать непрошеное и омерзительное признание. Забавнее всего было то, что, предаваясь всем этим соображениям высшего порядка, я тем не менее ощущал некий трепет при мысли о возможной – весьма возможной – постыдной драке, для которой не подыщешь объяснений и которая сделает меня смешным. Я не стремился к тому, чтобы прославиться на три дня, как человек, получивший синяк под глазом или что-либо в этом роде от штурмана с «Патны». Он же, по всем вероятностям, не задумывался над своими поступками и, во всяком случае, был бы оправдан в своих собственных глазах. Несмотря на его спокойствие и, я бы сказал, оцепенение, каждый, не будучи волшебником, заметил бы, что он чрезвычайно чем-то рассержен. Не отрицаю, мне очень хотелось умиротворить его во что бы то ни стало, если бы я только знал, как за это взяться. Но, как вы легко можете себе представить, я не знал. То был мрак, без единого проблеска света. Молча стояли мы друг перед другом. Секунд пятнадцать он выжидал, затем шагнул вперед, а я приготовился отразить удар, хотя, кажется, ни один мускул у меня не дрогнул.

– Будь вы вдвое больше и вшестеро сильнее, – заговорил он очень тихо, – я бы вам сказал, что я о вас думаю. Вы...

– Стойте! – воскликнул я.

Это заставило его на секунду замолкнуть.

– Раньше чем сказать, что вы обо мне думаете, – быстро продолжал я, – будьте любезны сообщить мне, что я такое сказал или сделал.

Последовала пауза. Он смотрел на меня с негодованием, а я мучительно напрягал память, но мне мешал восточный голос из зала суда, бесстрастно и многословно возражавший против обвинения во лжи. Потом мы заговорили почти одновременно.

– Я вам докажу, что вы ошибаетесь на мой счет, – сказал он тоном, предвещающим развязку.

– Понятия не имею, – серьезно заявил я в тот же момент.

Он старался меня уничтожить презрительным взглядом.

– Теперь, когда вы видите, что я не боюсь, вы пытаетесь увернуться, – сказал он. – Ну, кто из нас трусливая тварь?

Тут только я понял.

Он всматривался в мое лицо, словно выискивая местечко, куда бы опустить кулак.

– Я никому не позволю... – забормотал он угрожающе.

Да, действительно, это было страшное недоразумение; он выдал себя с головой. Не могу вам передать, как я был потрясен. Должно быть, мне не удалось скрыть свои чувства, так как выражение его лица слегка изменилось.

– Боже мой! – пролепетал я. – Не думаете же вы, что я...

– Но я уверен, что не ослышался, – настаивал он и, впервые с начала этой горестной сцены, повысил голос. Потом с оттенком презрения добавил: – Значит, это были не вы? Отлично; я разыщу того, другого.

– Не глупите, – в отчаянии крикнул я, – это было совсем не то.

– Я слышал, – повторил он с непоколебимым и мрачным упорством.

Быть может, найдутся люди, которым покажется смешным такое упрямство. Но я не смеялся. О нет! Никогда не встречал я человека, который бы выдал себя так безжалостно, поддавшись вполне естественному побуждению. Единственное слово лишило его сдержанности – той сдержанности, которая для пристойности нашего внутреннего «я» более необходима, чем одежда для нашего тела.

– Не глупите, – повторил я.

– Но вы не отрицаете, что тот, другой, это сказал? – произнес он внятно и не мигая глядел мне в лицо.

– Нет, не отрицаю, – сказал я, выдерживая его взгляд.

Наконец он опустил глаза и посмотрел туда, куда я указывал ему пальцем. Сначала он как будто не понял, потом остолбенел, наконец на лице его отразилось изумление и испуг, словно собака была чудовищем, а он впервые увидел собаку.

– Ни у кого и в мыслях не было оскорблять вас, – произнес я.

Он смотрел на жалкое животное, сидевшее неподвижно, как изваяние; насторожив уши, собака повернула острую мордочку к двери и вдруг, как автомат, щелкнула зубами, целясь на пролетавшую муху.

Я посмотрел на него. Румянец на его загорелых, покрытых пушком щеках внезапно потемнел и залил лоб до самых корней вьющихся волос. Уши покраснели, и даже ясные голубые глаза стали гораздо темнее от прилива крови к голове. Губы слегка оттопырились и задрожали, словно он вот-вот разразится слезами. Я понял, что он не в силах выговорить ни единого слова, подавленный своим унижением. И разочарованием – кто знает? Возможно, он хотел этой потасовки, которую намеревался мне навязать для своей реабилитации, для успокоения? Кто знает, какого облегчения он ждал от этой драки? Он был так наивен, что мог ждать чего угодно; но в данном случае он выдал себя с головой совершенно напрасно. Он был искренен с самим собой – не говоря уже обо мне – в безумной надежде добиться таким путем какого-то явного опровержения, а насмешливая судьба ему не благоприятствовала. Он издал нечленораздельный звук, как человек, полуоглушенный ударом по голове. Жалко было смотреть на него.

Я нагнал его далеко за воротами. Мне даже пришлось пуститься рысцой, но когда я, запыхавшись, поравнялся с ним и заговорил о бегстве, он сказал: – Никогда! – и тотчас же занял оборонительную позицию. Я объяснил, что отнюдь не хотел сказать, будто он бежит от меня.

– Ни от кого... ни от кого на свете, – заявил он упрямо.

Я удержался и не сказал ему об одном-единственном исключении из этого правила – исключении, приемлемом для самых храбрых из нас. Думалось, что он и сам скоро это поймет. Он терпеливо смотрел на меня, пока я придумывал, что бы ему сказать, но в тот момент мне ничего не приходило на ум, и он снова зашагал вперед. Я не отставал и, не желая отпускать его, торопливо заговорил о том, что мне бы не хотелось оставлять его под ложным впечатлением моего... моего... Я запнулся. Глупость этой фразы испугала меня, пока я пытался ее закончить, но могущество фраз ничего общего не имеет с их смыслом или с логикой их конструкций. Мой идиотский лепет, видимо, ему понравился. Он оборвал его, сказав с вежливым спокойствием, свидетельствовавшим о безграничном самообладании или же удивительной эластичности настроения:

– Всецело моя ошибка...

Я подивился этому выражению: казалось, он намекал на какой-то пустячный случай. Неужели он не понял его позорного значения?

– Вы должны, простить меня, – продолжал он и хмуро добавил: – Все эти люди, тарашившие на меня глаза там, в суде, казались такими дураками, что... что могло быть и так, как я предположил.

Эта фраза изумила меня. Он предстал в новом свете. Я посмотрел на него с любопытством и встретил его взгляд, непроницаемый и нимало не смущенный.

– С подобными выходками я не могу примириться, – сказал он очень просто, – и не хочу. В суде иное дело; там мне приходится это выносить – и я выношу.

Не могу сказать, чтобы я его понимал. То, что он мне показывал, походило на проблески света в прорывах густого тумана, через которые видишь яркие и ускользающие детали, не дающие полного представления о данной местности. Они питают любопытство человека, не удовлетворяя его; ориентироваться по ним нельзя. В общем, он сбивал с толку. Вот к какому выводу я пришел, когда мы расстались поздно вечером. Я остановился на несколько дней в отеле «Малабар», и он принял мое настойчивое приглашение пообедать вместе.

Глава седьмая

В тот день отправлявшееся за границу почтовое судно прибыло в порт, и в большой столовой отеля добрая половина столиков была занята людьми с кругосветными билетами, ценой в сто фунтов, в карманах. Были тут супружеские пары, видимо, уже привыкшие к семейной жизни и наскучившие друг другу за время путешествия, были и люди, путешествующие компанией, были и одинокие субъекты, торжественно обедающие или шумно пирующие, но все они думали, разговаривали, шутили или хмурились точь-в-точь так, как привыкли это делать у себя дома; и к новым впечатлениям они были не более восприимчивы, чем их багаж наверху. Отныне они вместе со своим багажом будут отмечены ярлыком, как побывавшие в таких-то и таких-то странах. Эти люди будут дрожать над этим своим отличием и сохранять приклеенные к чемоданам ярлыки, как документальное доказательство, как единственный неизгладимый след поездки с образовательной целью. Темнолицые слуги бесшумно скользили по натертому полу; изредка раздавался девичий смех, наивный и пустой, как сама девушка, или, когда затихал стук посуды, доносились слова, произнесенные в нос остряком, который расписывал ухмыляющимся сотрапезникам последний забавный скандал на борту судна. Две кочующие старые девы в сногшибательных туалетах кисло просматривали меню и перешептывались, шевеля поблекшими губами; эксцентричные, с деревянными лицами, они походили на роскошно одетые вороны пугала. Несколько глотков вина приоткрыли сердце Джима и развязали ему язык. Аппетит у него был хороший, это я заметил. Казалось, он похоронил где-то эпизод, положивший начало нашему знакомству, словно это было нечто такое, о чем никогда больше не будет речи. Все время я видел перед собой эти голубые мальчишеские глаза, прямо на меня смотревшие, это молодое лицо, могучие плечи, открытый бронзовый лоб с белой полоской у корней вьющихся белокурых волос; его вид пробуждал во мне симпатию – это открытое лицо, бесхитростная улыбка, юношеская серьезность. Он был порядочным человеком, – одним из нас. Он говорил рассудительно, с какой-то сдержанной откровенностью, и с тем спокойствием, какого можно достигнуть мужественным самообладанием или бесстыдством, бесчувственностью, безграничной наивностью или страшным самообманом. Кто знает? Судя по нашему тону, могло показаться, что мы рассуждаем о ком-то постороннем, о футбольном матче, о прошлогоднем снеге. Моя мысль тонула в море догадок, но тут разговор пошел по новому руслу, и мне удалось, не оскорбляя Джима, заметить, что следствие, несомненно, было для него мучительным. Он схватил меня за руку – моя рука лежала на скатерти, подле тарелки, – и впился в меня глазами. Я испугался.

– Должно быть, это ужасно неприятно, – пробормотал я, смущенный таким безмолвным проявлением чувств.

– Это – адская пытка! – воскликнул он заглушенным голосом.

Это движение и эти слова заставили двух франтоватых путешественников, сидевших за соседним столиком, тревожно оторваться от их замороженного пудинга. Я встал, и мы вышли на галерею, где нас ждало кофе и сигары.

На маленьких восьмиугольных столиках горели свечи под стеклянными колпаками; вокруг стояли удобные плетеные стулья; столики отделялись друг от друга какими-то растениями с жесткими листьями; между колонн, на которые падал красноватый отблеск света из высоких окон, ночь, мерцающая и мрачная, спустилась великолепным занавесом. Огни судов мигали вдали, словно заходящие звезды, а холмы по ту сторону рейда походили на округлые черные массы застывших грозových туч.

– Я не мог удрать, – начал Джим. – Шкипер удрал, – так ему и полагалось сделать. А я не мог и не хотел... Все они выпутались так или иначе, но для меня это не годилось.

Я слушал с напряженным вниманием, не смея шелохнуться; я хотел знать – но и по сей день не знаю, я могу только догадываться. Он был доверчив и в то же время сдержан, словно убеждение в какой-то внутренней правоте мешало истине сорваться с уст. Прежде всего он заявил таким тоном, как будто признавался в своем бессилии перескочить через двадцатифутовую стену, что никогда не сможет вернуться домой; это заявление вызвало в моей памяти слова Брайерли: «Если не ошибаюсь, этот старик пастор в Эссексе без ума от своего сына моряка».

Не могу вам сказать, знал ли Джим о том, что был любимцем отца, но тон, каким он отзывался «о своем папе», был рассчитан на то, чтобы я представил себе старого деревенского пастора самым прекрасным человеком из всех, кто когда-либо, с сотворения мира, был обременен заботами о большой семье. Это хотя и не было сказано, но подразумевалось, не оставляя места сомнениям, а искренность Джима была очаровательна, подчеркивая, что вся история затрагивает и тех, кто живет там – очень далеко.

– Теперь он уже знает обо всем из газет там, на родине, – сказал Джим. – Я никогда не смогу встретиться с бедным стариком.

Я не смел поднять глаза, пока он не добавил:

– Я никогда не смогу объяснить. Он бы не понял.

Тогда я посмотрел на него. Он задумчиво курил, потом, немного погодя, встрепнулся и снова заговорил. Он выразил желание, чтобы я не смешивал его с сообщниками в... ну, скажем... в преступлении. Он не из их компании; он совсем из другого теста. Я не отрицал. Мне отнюдь не хотелось, во имя бесплодной истины, лишать его хотя бы малой частицы спасительной милости, выпавшей ему на долю. Я не знал, насколько он в это верит. Не знал, какую он ведет игру – если он вообще вел какую-нибудь игру; подозреваю, что и он этого не знал: я убежден, что ни один человек не может до конца понять собственные уловки, к каким прибегает, чтобы спастись от грозной тени самопознания. Я не произнес ни слова, пока он рассуждал о том, что ему делать, когда закончится «это дурацкое следствие».

Видимо, он разделял презрительное мнение Брайерли об этой процедуре, предписанной законом. Он не знал, куда деваться, и сообщил об этом, скорее размышляя вслух, чем разговаривая со мной. Свидетельство отберут, карьера кончена, нет денег, чтобы уехать, никакого места не предвидится. На родине, пожалуй, можно было бы что-нибудь получить, – иными словами, следовало обратиться к родным за помощью, а этого он не хотел. Ему ничего не оставалось, как поступить простым матросом; пожалуй, ему удалось бы получить место рулевого старшины на каком-нибудь пароходе. Он может быть рулевым.

– Думаете – могли бы? – безжалостно спросил я.

Он вскочил и, подойдя к каменной балюстраде, посмотрел в ночь. Через секунду вернулся и остановился передо мной; его юношеское лицо было еще омрачено болью, порожденной эмоцией, которую он задушил. Он прекрасно понимал, что я не сомневаюсь в его способности стоять у штурвала. Слегка дрожащим голосом он спросил меня – почему я это сказал? Я был «так добр» к нему. Я даже не посмеялся над ним, когда... тут он запнулся... «когда произошло это недоразумение... и я сваял такого дурака».

Я перебил его и с жаром заявил, что мне это недоразумение отнюдь не показалось смешным. Он сел и, задумчиво потягивая кофе, выпил маленькую чашечку до дна.

– Но я ни на секунду не допускаю мысли, что эта кличка мне подходит, – отчетливо сказал он.

– Да? – спросил я.

– Да, – подтвердил он спокойно и решительно. – А вы знаете, что сделали бы вы? Знаете? И ведь вы не считаете себя... – тут он что-то проглотил, – ...не считаете себя трус... трусливой тварью?

И тут он – клянусь честью – вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, то был вопрос – вопрос *bona fide*[5 - Вполне искренно (лат.)]. Однако ответа он не ждал. Раньше чем я успел опомниться, он снова заговорил, глядя прямо перед собой, словно читая письма, начертанные на лице ночи.

– Все дело в том, чтобы быть готовым. А я не был готов... тогда. Я не хочу оправдываться, но мне хотелось бы объяснить... чтобы кто-нибудь понял... кто-нибудь... хоть один человек! Вы! Почему бы не вы!

Это было торжественно и чуточку смешно: так бывает всегда, когда человек мучительно пытается спасти свое представление о том, каков должен быть его моральный облик. Это представление условно – одно из правил игры, не больше, – и, однако, оно имеет великое значение, ибо притязает на неограниченную власть над природными инстинктами и жестоко карает падение.

Он начал свой рассказ довольно спокойно. На борту парохода компании «Дейл Лайн», который подобрал этих четверых, пливших в шлюпке под мягкими лучами заходящего солнца, на них с первого же дня стали смотреть косо. Толстый шкипер рассказал какую-то историю, остальные молчали, и поначалу его версия была принята. Не станете же вы подвергать перекрестному допросу людей, потерпевших крушение, которых вам посчастливилось спасти если не от мучительной смерти, то, во всяком случае, от жестоких мучений. Потом, когда уже было время подумать, капитану и помощникам «Эвонделя», должно быть, пришло в голову, что в этой истории есть что-то неладное; но свои сомнения они,

конечно, оставили при себе. Они выбрали капитана, штурмана и двух механиков с затонувшего парохода «Патна», и этого с них было достаточно. Я не спросил Джима, как он себя чувствовал в течение тех десяти дней, которые провел на борту «Эвонделя». Судя по тому, как он рассказывал, я свободно мог заключить, что он был ошеломлен сделанным открытием – открытием, лично его касавшимся, – и, несомненно, пытался его объяснить единственному человеку, который способен был оценить все потрясающее величие этого открытия. Вы должны понять, что он отнюдь не старался умалить его значение. В этом я уверен; и тут-то и коренится то, что отличало Джима от остальных. Что же касается испытанных им эмоций, когда он сошел на берег и услышал о непредвиденном завершении истории, в которой сыграл такую жалкую роль, – то о них он мне ничего не сказал, и это трудно себе представить.

Почувствовал ли он, что почва уходит у него из-под ног? Хотелось бы знать... Но, несомненно, ему скоро удалось найти себе новую опору. Он прожил на берегу целых две недели в Доме моряка; в то время там жили еще шесть или семь человек, и от них я кое-что слышал о нем. Их мнение сводилось к тому, что, не говоря о прочих его недостатках, он был угрюмой скотиной. Целые дни он проводил на веранде, лежа на шезлонге и покидая свое убежище только в часы еды или поздно вечером, когда отправлялся бродить по набережной, в полном одиночестве, оторванный ото всех, нерешительный и молчаливый, словно бездомный призрак.

– Кажется, я за все это время ни единой живой душе не сказал и двух слов, – заметил он, и мне стало его очень жаль; тотчас же он добавил: – Один из тех парней непременно выпалил бы что-нибудь такое, с чем я бы не мог примириться, а ссоры я не хотел. Да! Тогда не хотел. Я был слишком... слишком... Мне было не до ссор.

– Значит, та переборка в трюме все-таки выдержала, – бодро сказал я.

– Да, – прошептал он, – выдержала. И, однако, я могу вам поклясться, что чувствовал, как она выпячивается под моей рукой.

– Удивительно, какой сильный напор может иногда выдержать старое железо, – сказал я.

Откинувшись на спинку стула, вытянув ноги и свесив руки, он несколько раз кивнул головой. Трудно представить себе более грустное зрелище. Вдруг он поднял голову, выпрямился, хлопнул себя по бедру.

– Ах, какой случай упущен! Боже мой! Какой случай упущен! – воскликнул он, и это последнее слово «упущен» прозвучало, словно крик, исторгнутый болью.

Он снова замолчал и уставился в пространство, жадно призывая этот упущенный случай отличиться; на секунду ноздри его раздулись, словно он втягивал пьянящий аромат этой неиспользованной возможности. Если вы думаете, что я был удивлен или шокирован, вы очень ко мне несправедливы. Ах, это был парень, наделенный фантазией! Его взгляд уходил в ночь, и по его глазам я видел, что он стремительно рвется вперед, туда, – в фантастическое царство безрассудного героизма. Ему некогда было сожалеть о том, что он потерял, – слишком он был озабочен тем, что ему не удалось получить. Он был очень далеко от меня, сидевшего на расстоянии трех футов. С каждой секундой он все глубже уходил в мир несбыточных романтических достижений. Наконец он проник в самое его сердце! Странное блаженство осветило его лицо, глаза сверкнули при свете свечи, горевшей между нами; он улыбнулся! Он проник в самое сердце – в самое сердце. То была улыбка экстаза, – мы с вами, друзья мои, никогда не будем так улыбаться. Я вернул его на землю словами: – Если б вы не покинули судна... Вы это хотели сказать?

Он повернулся ко мне, и взгляд его был растерянный, полный муки, лицо недоуменное, испуганное, страдальческое, словно он упал со звезды. Ни вы, ни я ни на кого не будем так глядеть. Он сильно вздрогнул, как будто холодный палец коснулся его сердца. Потом вздохнул.

Я не был в милостивом настроении. Он провоцировал меня своими противоречивыми признаниями.

– Печально, что вы не знали раньше! – сказал я с недобрым намерением. Но вероломная стрела упала, не причинив вреда, – упала к его ногам, не достигнув цели, а он не подумал о том, чтобы ее поднять. Быть может, даже и не видал ее. Развалившись на стуле, он сказал:

– Черт возьми! Говорю вам, она выпячивалась. Я проводил фонарем вдоль паза, там, внизу, когда кусок ржавчины, величиной с мою ладонь, упал с переборки. –

Он провел рукой по лбу. – Переборка дрожала и шаталась, словно что-то живое, когда я смотрел на нее.

– И тут вы почувствовали себя скверно, – заметил я вскользь.

– Неужели вы полагаете, – сказал он, – что я думал о себе, когда за моей спиной спали крепким сном сто шестьдесят человек – на носу, в межпалубном помещении? А на корме их было еще больше... и на палубе... спали, ни о чем не подозревая... людей было втрое больше, чем могло уместиться на шлюпках, даже если б и было время спустить их. Я ждал, что железная переборка на моих глазах прорвется, и поток воды зальет их, спящих... Что было мне делать, что?

Я легко могу представить себе, как он стоял во мраке, а свет круглого фонаря падал на часть переборки, которая выдерживала тяжесть всего океана, и слышалось дыхание спящих людей. Я видел, как он смотрел на железную стену, испуганный падающими кусками ржавчины, придавленный знаменiem неминуемой смерти. Это было, как я понял, тогда, когда его вторично послал на нос шкипер, желавший, вероятно, удалить его с мостика. Джим сказал мне, что первым его побуждением было крикнуть и, разбудив всех этих людей, сразу повергнуть их в ужас, но сознание своей беспомощности так его ошеломило, что он не в силах был издать ни единого звука. Вот что, должно быть, подразумевается под словами: «язык прилип к гортани».

«Во рту все пересохло», – так описал Джим это состояние. Молча выбрался он на палубу через люк номер первый. Виндзейль[б - Виндзейль – парусиновый рукав, чрез который очищается воздух внутри судна.], свалившийся вниз, случайно задел его по лицу, и от легкого прикосновения парусины он едва не слетел с трапа.

Джим признался, что ноги у него подкашивались, когда он вышел на фордек и поглядел на спящую толпу. К тому времени остановили машины и стали выпускать пар. От этого глухого рокота ночь вибрировала, словно басовая струна. Судно отвечало дрожью.

Кое-где голова приподнималась с циновки, смутно вырисовывалась фигура сидящего человека, он сонно прислушивался, потом снова ложился среди нагроможденных ящиков, паровых воротов, вентиляторов. Джим знал: все эти люди были недостаточно осведомлены, чтобы понять значение странного шума.

Железное судно, люди с белыми лицами, все предметы, все звуки – все на борту казалось этой невежественной и благочестивой толпе одинаково странным и столь же надежным, как и непонятным. Ему пришло в голову, что это обстоятельство можно назвать счастливым. Такая мысль была поистине ужасна.

Не забудьте: он верил, – как верил бы всякий на его месте, – что судно должно затонуть с минуты на минуту; выпятившаяся, изъеденная ржавчиной переборка, которая противостояла напору океана, должна была рухнуть, – внезапно, как минированная дамба, – и впустить поток воды. Он стоял неподвижно, глядя на эти распростертые тела, – обреченный человек, знающий свою судьбу и созерцающий молчаливое сборище мертвецов. Они были мертвы! Ничто не могло их спасти. В шлюпках едва ли разместилась бы половина, но и для этого не было времени. Не было времени! Бессмысленным казалось разжать губы, пошевелить рукой или ногой. Раньше, чем он успеет выкрикнуть три слова или сделать три шага, он уже будет барахтаться в море, которое покроется пеной от отчаянных усилий тонущих людей, огласится воплями о помощи. Помощи быть не могло. Он прекрасно представлял себе, что именно произойдет; он пережил это, неподвижно стоя с фонарем в руке возле люка, – пережил все, вплоть до самой последней мучительной детали. Думаю, он переживал это вторично, когда рассказывал мне то, о чем не мог говорить в суде.

– Я видел ясно – так же, как вижу сейчас вас, – что делать мне нечего. Жизнь как будто ушла от меня. Я мог бы стоять на месте и ждать. Я не думал, что у меня оставалось еще много секунд...

Вдруг пар перестал выходить. Шум, по словам Джима, тревожил, но эта внезапная тишина показалась невыносимо гнетущей.

– Я думал, что задохнусь раньше, чем утону, – сказал он. Потом добавил, что не думал о своем спасении. В его мозгу всплывала, исчезала и снова всплывала только одна отчетливая мысль: восемьсот человек и семь шлюпок... восемьсот человек и семь шлюпок.

– Словно чей-то голос нашептывал мне, – взволнованно проговорил он, – восемьсот человек и семь шлюпок... и нет времени! Вы только подумайте!

Он наклонился ко мне через маленький столик, а я попытался избежать его взгляда.

– Вы думаете, я боялся смерти? – спросил он голосом, очень напряженным и тихим. Он ударил ладонью по столу, и от этого удара запрыгали кофейные чашки. – Я готов поклясться, что не боялся – нет... Клянусь богом, нет! – Он выпрямился и скрестил на груди руки; подбородок его опустился на грудь.

Через высокие окна слабо доносился до нас стук посуды. Раздались громкие голоса, и на галерею вышли несколько человек в прекраснейшем настроении. Они обменивались шутками, вспоминая катанье на ослах в Каире. Бледный, боязливый, мягко ступавший на длинных ногах юноша разговаривал с краснолицым чванным путешественником, который высмеивал его покупки, сделанные на базаре.

– Нет, вы в самом деле думаете, что я был так испуган? – осведомился Джим очень серьезно и решительно.

Компания, отойдя дальше, размещалась за столиками; вспыхивали спички, на секунду освещая невыразительные лица и тусклый блеск белых манишек; жужжание разговаривающих людей, разгоряченных после обеда, казалось мне нелепым и бесконечно далеким.

– Несколько человек из команды спали на люке номер первый, в двух шагах от меня, – снова заговорил Джим.

Заметьте, что на этом судне на вахте стояли калаши, команда спала всю ночь, и будили только тех, кто сменял дозорных. Джим почувствовал искушение схватить за плечо ближайшего матроса и растолкать его, но не сделал этого. Что-то удержало его руку. Он не боялся, – о нет! – просто он не мог – вот и все. Быть может, он не боялся смерти, но, говорю вам, его пугала паника. Его проклятая фантазия рисовала ужасное зрелище – панику, стремительное бегство, раздирающие вопли, перевернутые шлюпки, – все самые страшные картины катастрофы на море, о каких он когда-либо слышал. Примириться со смертью он мог, но подозреваю, что он хотел умереть, не видя кошмарных сцен, – умереть спокойно, как бы в трансе. Известная готовность умереть наблюдается довольно часто, но редко встретите вы человека, облеченного в стальную непроницаемую броню решимости, который будет вести безнадежную борьбу до последней минуты: тяга к покою усиливается по мере того, как тает надежда, и побеждает наконец даже желание жить. Кто из нас не наблюдал такого явления? Быть может, вы сами испытали нечто подобное этому чувству – крайнюю усталость, сознание тщеты всяких усилий, страстную жажду покоя.

Это хорошо известно тем, кто борется с безрассудными силами: потерпевшим кораблекрушение и плывущим в шлюпках, путешественникам, заблудившимся в пустыне, людям, сражающимся с силами природы или тупым зверством толпы.

Глава восьмая

Сколько времени стоял он неподвижно у люка, ожидая с секунды на секунду, что судно опустится под его ногами, и поток воды ударит ему в спину и унесет, как щепку, – я не знаю. Не очень долго, – быть может, две минуты. Двое – он не мог их разглядеть – стали переговариваться сонными голосами, где-то слышалось шарканье ног. А над этими слабыми звуками нависла та страшная тишина, какая предшествует катастрофе, – тягостное затишье перед ударом. Тут ему пришло в голову, что, пожалуй, он успеет взбежать наверх и перерезать все талрепы, чтобы шлюпки не затонули, когда судно пойдет ко дну.

На «Патне» был длинный мостик, и все шлюпки находились наверху – четыре с одной стороны и три с другой, – самые маленькие на левом борту, против штурвала. Джим говорил с беспокойством, боясь, что я ему не поверю: больше всего он заботился о том, чтобы в нужный момент шлюпки были наготове. Свой долг он знал и в этом смысле, полагаю, был хорошим штурманом.

– Я всегда считал, что нужно быть готовым к худшему, – пояснил он, тревожно вглядываясь в мое лицо.

Я кивком одобрил этот здравый принцип и отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с человеком, в котором чудилось мне что-то ненадежное.

Он бросился бегом, колени у него подгибались. Ему приходилось переступать через чьи-то ноги, обходить чьи-то головы. Вдруг кто-то схватил его снизу за куртку, подле него раздался измученный голос. Свет фонаря, который он держал в правой руке, упал на темное лицо, обращенное к нему, глаза молили так же, как и голос. Джим достаточно усвоил язык, чтобы понять слово «вода», это слово было сказано несколько раз тоном настойчивым, умоляющим – почти с отчаянием. Он рванулся, чтобы высвободиться, и почувствовал, как рука обхватила его ногу.

– Бедняга цеплялся за меня, словно утопающий, – выразительно сказал Джим. – Вода, вода! О какой воде он говорил? Что ему было известно? Стараясь говорить спокойно, я приказал ему отпустить меня. Он меня задерживал, время не ждало, люди кругом начинали шевелиться. Мне нужно было время – время, чтобы перерезать канаты шлюпок. Теперь он завладел моей рукой, и я чувствовал, что он вот-вот заорет. У меня мелькнула мысль, что этого будет достаточно, чтобы вызвать панику, и я размахнулся свободной рукой и ударил его фонарем по лицу. Стекло зазвенело, свет погас, но удар заставил его выпустить меня, и я пустился бежать – я хотел добраться до шлюпок... я хотел добраться до шлюпок. Он прыгнул на меня сзади. Я повернулся к нему. Нельзя было заткнуть ему глотку; он пытался кричать. Я чуть не задушил его раньше, чем понял, чего он хочет. Он просил воды – воды напиться; видите ли, они были на строгом рационе, а с ним был мальчик, которого я несколько раз видел. Ребенок болел – хотел пить. Отец, заметив меня, когда я проходил мимо, попросил воды: вот и все. Мы находились под мостиком, в темноте. Он все цеплялся за мои руки, невозможно было от него отделаться. Я бросился в каюту, схватил свою бутылку с водой и сунул ему в руки. Он исчез. Тут только я понял, как мне самому хочется пить.

Он оперся на локоть и прикрыл глаза рукой.

Я почувствовал, как мурашки забегали у меня по спине; что-то странное было во всем этом. Пальцы его руки, прикрывавшей глаза, чуть-чуть дрожали. Он прервал короткое молчание.

– Такое случается лишь раз в жизни и... ну, ладно! Когда я добрался до мостика, негодяи спускали одну из шлюпок с блоков. Шлюпку! Когда я взбегал по трапу, кто-то тяжело ударил меня по плечу, едва не задев голову. Это меня не остановило, и старший механик – к тому времени они подняли его с койки – снова замахнулся упоркой для ног со шлюпки. Почему-то я был так настроен, что ничему не удивлялся. Все это казалось вполне естественным – и ужасным... ужасным. Я увернулся от несчастного маньяка и поднял его над палубой, словно он был малым ребенком, а он зашептал, пока я держал его на руках:

«Не надо! Не надо! Я вас принял за одного из этих чернокожих...»

Я отшвырнул его, он покатился по мостику и сбил с ног того маленького парнишку – второго механика. Шкипер, возившийся у шлюпки, оглянулся и направился ко мне, опустив голову и ворча, словно дикий зверь. Я не

шевелинулся и стоял, как каменный. Стоял так же неподвижно, как эта стена.

Он легонько ударил суставом пальца по стене у своего стула.

– Было так, словно все это я уже видел, слышал, пережил раз двадцать. Я их не боялся. Я оттянул назад кулак, а он остановился, бормоча:

«А, это вы! Помогите нам. Живее!»

Вот все, что он сказал. Живее! Словно можно было успеть!

«Вы хотите что-то сделать?» – спросил я.

«Да. Убраться отсюда», – огрызнулся он через плечо.

Кажется, тогда я не понял, что именно он имел в виду. К тому времени те двое поднялись на ноги и вместе бросились к шлюпке. Они топтались, пыхтели, толкали, проклинали шлюпку, судно, друг друга, проклинали меня. Вполголоса. Я не шевелился, молчал, смотрел, как накреняется судно. Оно лежало совершенно неподвижно, словно на блоках, в сухом доке, – но держалось оно вот так.

Он поднял руку, ладонью вниз, и согнул пальцы.

– Вот так, – повторил он. – Я ясно видел перед собой линию горизонта, над верхушкой форштевня; я видел воду там, вдали, черную, и сверкающую, и неподвижную, словно в заводи; таким неподвижным море никогда еще не бывало, и я не мог это вынести. Видали ли вы когда-нибудь судно, плывущее с опущенным носом? Судно, которое держится на воде лишь благодаря листу старого железа, слишком ржавого, чтобы можно было его подпереть? Видали? О да, – подпереть! Я об этом подумал – я подумал решительно обо всем: но можете вы подпереть за пять минут переборку... или хотя бы за пятьдесят минут? Где мне было достать людей, которые согласились бы спуститься туда, вниз? А дерево... дерево! Хватило бы у вас мужества ударить хоть раз молотком, если бы вы видели эту переборку? Не говорите, что вы бы это сделали, – вы ее не видели; никто бы не сделал. Черт возьми! Чтобы сделать такую штуку, вы должны верить, что есть хоть один шанс на тысячу, хотя бы призрачный; а вы не могли

бы поверить. Никто бы не поверил. Вы думаете, я трус, потому что стоял там, ничего не делая, но что сделали бы вы? Что? Вы не можете сказать, никто не может. Нужно иметь время, чтобы оглядеться. Что, по-вашему, я должен был делать? Что толку было пугать до смерти всех этих людей, которых я один не мог спасти, – которых ничто не могло спасти? Слушайте! Это так же верно, как то, что я сижу здесь перед вами...

После каждого слова он быстро переводил дыхание и взглядывал на меня; словно в тревоге своей не переставал наблюдать за моими впечатлениями. Не ко мне он обращался, – он лишь разговаривал в моем присутствии, вел диспут с невидимым лицом, враждебным и неразлучным спутником его жизни – совладельцем его души. То было следствие, которое не судьям вести! То был тонкий и важный спор об истинной сущности жизни, и присутствие судьи было излишне. Джим нуждался в союзнике, помощнике, соучастнике. Я почувствовал, какому риску себя подвергаю: он мог меня обойти, ослепить, обмануть, запугать, быть может, чтобы я сказал решающее слово в диспуте, где никакое решение невозможно, если хочешь быть честным по отношению ко всем призракам – как почтенным, имеющим свои права, так и постыдным, предъявляющим свои требования. Я не могу объяснить вам, не выдавшим его и лишь слушающим его слова от третьего лица, – не могу объяснить смятение своих чувств. Казалось, меня вынуждали понять непостижимое, и я не знаю, с чем сравнить неловкость такого ощущения. Меня заставляли видеть условность всякой правды и искренность всякой лжи. Он апеллировал сразу к двум лицам – к лицу, которое всегда обращено к дневному свету, и к тому лицу, какое у всех нас – подобно другому полушарию луны – обращено к вечной тьме и лишь изредка видит пугающий пепельный свет. Он заставлял меня колебаться. Я признаюсь в этом, каюсь. Случай был незначительный, если хотите: погибший юноша, один из миллиона, – но ведь он был одним из нас; инцидент, лишенный всякого значения, подобно наводнению в муравейнике, и тем не менее тайна его поведения приковала меня, словно он был представителем своей породы, словно темная истина была настолько важной, что могла повлиять на представление человечества о самом себе...

Марлоу приостановился, чтобы разжечь потухающую сигару, и, казалось, позабыл о своем рассказе; потом неожиданно заговорил снова.

– Конечно, моя вина! Действительно, не мое дело было интересоваться. Это моя слабость. А его слабость была иного порядка. Моя же заключается в том, что я не вижу случайного, внешнего, – не признаю различия между мешком

тряпичника и тонким бельем первого встречного. Первый встречный! Вот именно! Я видел столько людей! – с грустью сказал он. – С иными я... ну, скажем, соприкасался – все равно, как с этим парнем, – и всякий раз я видел перед собой лишь человеческое существо. У меня проклятое демократическое зрение; быть может, оно лучше, чем полная слепота, но никакой выгоды от этого нет – могу вас уверить. Люди хотят, чтобы принимали во внимание их тонкое белье. Но я никогда не мог с восторгом относиться к таким вещам. О, это – ошибка; это – ошибка! А потом, в тихий вечер, когда компания слишком разленилась, чтобы играть в вист, приходит время и для рассказа...

Марлоу снова умолк, быть может, ожидая ободряющего замечания, но все молчали, только хозяин, как бы с неохотой выполняя долг, прошептал:

– Вы так утонченны, Марлоу.

– Кто? Я? – тихо сказал Марлоу. – О нет! Но он – Джим – был утончен; и как бы я ни старался получше рассказать эту историю, я все равно пропускаю множество оттенков – они так тонки, так трудно передать их бесцветными словами. А он усложнял дело еще и тем, что был так прост, бедняга!.. Ей-богу, он был удивительным парнем. Он говорил мне, – ничто бы его не испугало, «это так же верно, как и то, что он сидит передо мной». И ведь он в это верил! Говорю вам, это было чудовищно наивно... и... ошеломляло! Я наблюдал за ним исподтишка, словно заподозрил его в намерении меня взбесить. Он был уверен, что, по чести, – заметьте, «по чести»! – ничто не могло его испугать. Еще с тех пор как он был «вот таким», – «совсем мальчишкой», – он готовился ко всяким трудностям, с какими молено встретиться на суше и на море. Он с гордостью признавался в своей предусмотрительности. Он измышлял все возможные опасности и способы обороны, ожидая худшего, готовясь ко всему. Должно быть, он всегда пребывал в состоянии экзальтации. Можете вы это себе представить? Ряд приключений, столько славы, такое победное шествие! И каждый день своей жизни венчал он глубоким сознанием собственной своей проницательности. Он забылся; глаза его сияли; и с каждым его словом мое сердце, опаленное его нелепостью, все сильнее сжималось. Мне было не до смеха, а чтобы не улыбнуться, я сидел с каменным лицом. Он стал проявлять все признаки раздражения.

– Всегда случается неожиданное, – сказал я примирительным тоном. Моя тупость вызвала у него презрительное восклицание: «Ха!» Полагаю, он хотел этим сказать, что неожиданное не могло его затронуть; одно непостижимое

могло одержать верх над его подготовленностью. Он был застигнут врасплох и шепотом проклинал море и небо, судно и людей. «Все его предали!» Им овладела та высокомерная покорность, которая мешала ему пошевелиться мизинцем, в то время как остальные трое, отчетливо уяснившие себе требования данной минуты, в отчаянии толкались и потели над шлюпкой. Что-то у них там не ладилось. Очевидно, второпях они как-то ухитрились защемить болт переднего блока шлюпки и, поняв, чем грозит им оплошность, окончательно лишились рассудка. Должно быть, славное это было зрелище: бешеные усилия этих негодяев, которые копошились на неподвижном судне, застывшем в молчании спящего мира, боролись за освобождение шлюпки, ползали на четвереньках, вскакивали в отчаянии, толкали, ядовито огрызались друг на друга – на грани убийства, на грани слез, готовы были вцепиться друг другу в горло, а удерживал их только страх смерти, которая молча стояла за ними, словно непоколебимый и хладнокровный надсмотрщик. О да! Зрелище было недурное. Он видел это все, мог говорить об этом с презрением и горечью; мельчайшие детали он воспринял каким-то шестым чувством, ибо клялся мне, что стоял в стороне и не смотрел ни на них, ни на шлюпку, – не бросил ни единого взгляда. И я ему верю. Думаю, он был слишком поглощен созерцанием грозно накренившегося судна, угрозой, возникшей в момент полной безопасности, – был зачарован мечом, висящим на волоске над его головой фантазера.

Весь мир застыл перед его глазами, и он легко мог себе представить, как взметнется вверх темная линия горизонта, поднимется внезапно широкая равнина моря – быстрый, спокойный подъем, зверский бросок, зияющая бездна, борьба без надежды, звездный свет, навеки смыкающийся над головой, как свод sklepa, – как восстает против этого юность! – и... конец во тьме. Он мог это себе представить! Клянусь, всякий бы мог! И не забудьте, – он был законченным художником в этой области, одаренным способностью быстро вызывать видения, предшествующие событиям. И картина, какую он вызвал, превратила его в холодный камень; но в мозгу его мысли кружились в дикой пляске, пляске хромых, слепых, немых мыслей – вихрь страшных калек. Говорю вам, он исповедовался мне, словно я наделен был властью отпускать и вязать. Он забирался в глубь души, надеясь получить от меня отпущение, которое не принесло бы ему никакой пользы. То был один из тех случаев, когда самый святой обман не даст облегчения, ни один человек не может помочь и даже творец покидает грешника на произвол судьбы.

Он стоял на штирборте мостика, отойдя подальше от того места, где шла борьба за шлюпку. А борьбу вели с безумным возбуждением и втихомолку, словно

заговорщики. Два малайца по-прежнему сжимали спицы штурвала. Вы только представьте себе действующих лиц в этом, слава Богу, необычном эпизоде на море, – представьте себе этих четверых, обезумевших от яростных и тайных усилий, и тех троих, неподвижных зрителей; они стояли на мостике, над тентом, скрывающим глубокое неведение нескольких сотен усталых человеческих существ с их грезами и надеждами, задержанных невидимой рукой на грани гибели. Ибо я не сомневаюсь, что так оно и было: принимая во внимание состояние судна, нельзя себе представить большей опасности. Те негодяи у шлюпки недаром обезумели, от страха. Откровенно говоря, будь я там, я бы не дал и фальшивого фартинга за то, что судно продержится до конца следующей секунды. И все-таки оно держалось на воде! Эти спящие паломники обречены были завершить свое паломничество и изведать горечь какого-то иного конца. Казалось, всемогущий, в чье милосердие они верили, нуждался в их смиренном свидетельстве на земле и, глянув вниз, повелел океану: «Не тронь их!» Это спасение я счел бы загадочным и необъяснимым явлением, если б не знал, как крепко может быть старое железо, – не менее крепко, чем дух иных людей, с какими нам иногда приходится встречаться, – людей, исхудавших, как тени, и несущих на своих плечах груз жизни. Не менее удивительно, на мой взгляд, и поведение двух рулевых в течение этих двадцати минут. Их привезли из Адена вместе с прочими туземцами дать показание на суде. Один из них, страшно застенчивый, с желтой веселой физиономией, был очень молод, а выглядел еще моложе. Помню, как Брайерли спросил его через переводчика, о чем он в то время думал, а переводчик, обменявшись с ним несколькими словами, внушительно заявил:

– Он говорит, что ни о чем не думал.

У другого были терпеливые мигающие глаза, а его косматую седую голову украшал красиво обернутый синий бумажный платок, полинявший от стирки; лицо у него было худое, с запавшими щеками; его коричневая кожа от сети морщин казалась еще темнее. Он объяснял, что подозревал о какой-то беде, постигшей судно, но никакого приказа не получал; он не помнит, чтобы ему отдавали какое-нибудь приказание; зачем же ему было бросать штурвал? Отвечая на следующие вопросы, он передернул тощими плечами и заявил: тогда ему и в голову не приходило, что белые собираются покинуть судно, боясь смерти. Он и теперь этому не верит. Могли быть какие-нибудь тайные причины. Он глубокомысленно замотал своей старой головой. Ага! Тайные причины. Он был человек с большим опытом и желал, чтобы этот белый тюан знал – тут он повернулся в сторону Брайерли, который не поднял головы, – знал, что он приобрел большие знания на службе у белых людей; много лет он служил на

море. И вдруг, дрожа от возбуждения, он излил на нас – зачарованных слушателей – поток странно звучащих имен; то были имена давно умерших шкиперов, названия забытых местных судов, – звуки знакомые и искаженные, словно рука немого времени стирала их в течение нескольких веков. Наконец его прервали. Спустилось молчание – молчание, длившееся по крайней мере минуту и мягко перешедшее в тихий шепот. Этот эпизод явился сенсацией второго дня следствия, затронув всю аудиторию, затронув всех, кроме Джима, который угрюмо сидел с краю на первой скамье и даже не поднял головы, чтобы взглянуть на этого необыкновенного и пагубного свидетеля, казалось, овладевшего какой-то таинственной теорией защиты.

Итак, эти два матроса остались у штурвала судна, остановившегося на своем пути; здесь и настигла бы их смерть, если бы так было им суждено. Белые не подарили их ни единым взглядом, – быть может, забыли об их существовании. Во всяком случае, Джим о них не вспомнил. Он ничего не мог сделать теперь, когда был один. И делать было нечего; оставалось лишь затонуть вместе с судном. Не стоило поднимать из-за этого суматохи. Не так ли? Он ждал, выпрямившись, молчаливый; его поддерживала вера в героическую рассудительность. Старший механик осторожно перебежал мостик и дернул Джима за рукав.

– Помогите же! Ради бога, идите помогите!

Затем на цыпочках побежал к шлюпке, но тотчас же вернулся и снова уцепился за его рукав, умоляя и в то же время ругаясь.

– Кажется, он готов был целовать мне руки, – злобно сказал Джим, – а через секунду он зашептал с пеной у рта: «Будь у меня время, я бы с удовольствием проломил вам череп».

Я оттолкнул его. Вдруг он обхватил меня за шею. Черт бы его побрал! Я его ударил. Ударил, не глядя. Тогда он, всхлипывая, взмолился:

«Не хочешь, что ли, себя самого спасти, проклятый ты трус!»

Трус! Он меня называл проклятым трусом! Ха-ха-ха! Он меня называл... ха-ха-ха!..

Джим откинулся на спинку стула и весь трясся от смеха. Никогда я не слышал такого горького смеха. Он упал, словно зловещий туман, на все эти веселые

разговоры об ослах, пирамидах, базарах... Затихли голоса людей, беседовавших на длинной, тускло освещенной галерее, бледные пятна лиц одновременно повернулись в нашу сторону, наступило такое глубокое молчание, что звон чайной ложки, упавшей на мозаичный пол веранды, прозвучал тонким серебристым воплем.

– Нельзя так смеяться при всех этих людях, – упрекнул его я. – Это, знаете ли, не годится.

Он как будто меня не слышал, но потом поднял глаза и, пристально глядя мимо меня, словно всматриваясь в страшное видение, пробормотал небрежно:

– О, они подумают, что я пьян.

Затем он принял такой вид, как будто никогда больше не произнесет ни слова. Но не тут-то было! Он уже не мог остановиться, как не мог оборвать жизнь одним напряжением воли.

Глава девятая

– Я говорил мысленно: «Тони же, проклятое! Ступай ко дну!»

Этими словами он продолжил свой рассказ. Он хотел, чтобы все было кончено. Он остался совершенно один и, проклиная, взывал в то же время к судну, – поскольку я могу судить, он наслаждался привилегией быть свидетелем жалкой комедии. Те все еще возились у болта. Шкипер отдал приказание:

– Подлезьте и постарайтесь поднять.

Остальные, естественно, противились. Вы понимаете, лежать, распластавшись под килем шлюпки, – положение не из приятных, если судно в эту минуту внезапно пойдет ко дну.

– Почему вы не лезете? Ведь вы самый сильный! – захныкал маленький механик.

– Проклятие! Я слишком толст, – в отчаянии буркнул шкипер.

Зрелище было такое забавное, что ангелы могли заплакать. Секунду они стояли растерянные, и вдруг старший механик снова обратился к Джиму:

– Помогите же, старина! С ума вы, что ли, сошли? Ведь это же единственный шанс на спасение! Помогите! Посмотрите, посмотрите туда!

И наконец Джим посмотрел в сторону кормы, куда с настойчивостью маньяка показывал механик. Он увидел грозную черную тучу, уже поглотившую одну треть неба. Вы знаете, как налетают такие шквалы в это время года. Сначала вы видите, как темнеет горизонт, – и только; потом поднимаемся облако, плотное, как стена. Прямой край облака, обрамленный слабыми беловатыми отблесками, надвигается с юго-запада, поглощая звезды – одно созвездие за другим; тень его плывет над водой, и море и небо обволакиваются мраком. И все тихо. Ни грома, ни ветра, ни звука, ни вспышки молнии. Затем во мраке вселенной встает сине-багровая арка; проходят одна-две волны – кажется, будто мрак вздымается валами, – и вдруг налетают ветер и дождь, ударяют с такой силой, словно прорвались через что-то твердое. Такая туча и надвинулась, пока они не смотрели на небо. Они только что ее заметили и сделали совершенно правильный вывод: если при полном затишье у судна есть кое-какие шансы продержаться еще несколько минут на воде, то малейшее волнение тотчас же приведет к концу. Первая встреча с волной, предшествующей шквалу, будет и последней; судно нырнет и будет опускаться все ниже, ниже, до самого дна. Вот чем объяснялись эти новые судороги страха, новые корчи, в которых выражали они свое крайнее отвращение к смерти.

– Было черным-черно, – продолжал Джим с угрюмым упорством. – Туча подползла к нам сзади. Проклятая! Должно быть, где-то еще копошилась во мне надежда. Не знаю. Но теперь с этим было покончено. Меня бесило, что я так попался. Я злился, словно меня поймали в западню. Да так оно и было! И ночь, помню, была жаркая. Ни малейшего ветерка.

Он помнил это так хорошо, что, сидя передо мной на стуле, казалось, задыхался и обливался потом. Несомненно, он был взбешен; то был новый удар для него, но этот удар напомнил ему о том важном деле, ради которого он бросился на мостик, чтобы тотчас же о нем позабыть. Он намеревался перерезать канаты, привязывавшие шлюпки к судну. Он выхватил нож и принялся за работу так, словно ничего не видел, ничего не слышал, никого не замечал. Они сочли его

безнадежно помешанным, но не осмелились шумно выражать протест против этой бесполезной траты времени. Покончив с этим делом, он вернулся на то самое место, где стоял раньше. Старший механик тотчас же за него ухватился и зашептал с такой злобой, словно хотел укусить его за ухо:

– Безмозглый идиот! Вы думаете, вам удастся спастись, когда вся эта орава очутится в воде? Да они вам голову прошибут и не подпустят к шлюпкам.

Он ломал руки, а Джим словно и не замечал его. Шкипер нервно топтался на одном месте и бормотал:

– Молоток! Молоток! Mein Gott! [7 - Боже мой! (нем.)] Принесите же молоток!

Маленький механик хныкал, как ребенок, но, хотя рука у него и была сломана, он оказался разумнее своих товарищей и, собравшись с духом, бросился в машинное отделение. По справедливости следует признать, что это было дело нешуточное. Джим сказал мне, что у механика вид был отчаянный, как у человека, загнанного в тупик; он тихонько завыл и ринулся вперед. Вернулся он тотчас же с молотком в руке и, не мешкая, бросился к болту. Остальные немедленно отступились от Джима и побежали ему помогать. Джим слышал, как постукивал молоток, слышал звук падающего болта. Шлюпка была готова к спуску. Только тогда посмотрел он в ту сторону – только тогда. Но он не двинулся с места – не двинулся с места. Он хотел втолковать мне, что он не двинулся с места, что ничего общего не было между ним и теми людьми... теми людьми с молотком. Ничего общего! Более чем вероятно, что он считал себя отделенным от них пространством, которого нельзя перейти, – препятствием непреодолимым, пропастью бездонной. Он стоял от них так далеко, как только было возможно, – на другом конце мостика.

Его ноги были прикованы к этому месту, а глаза – к этой группе людей, наклонявшихся и странно, словно в тумане, раскачивавшихся, объятых единым страхом. Ручной фонарь, подвешенный к пиллерсу над маленьким столиком на мостике, – на «Патне» не было рубки посередине, – освещал напрягавшиеся в усилия плечи, то сгибавшиеся, то разгибавшиеся спины. Они налегали на нос шлюпки; они выталкивали ее в ночь и больше уже не оглядывались в его сторону. Они отказались от него, словно он действительно был слишком далеко, безнадежно далеко от них, и не стоило бросать ему призыв, взгляд или знак. Им некогда было взирать на его пассивный героизм, почувствовать укор, таившийся в его сдержанности. Шлюпка была тяжелая; они налегали на нос, не тратя сил

на подбадриванья; но ужас, развеявший их самообладание, как ветер раскидывает солому, превращал их отчаянные усилия в фарс, а их самих уподоблял кувыркающимся клоунам в цирке. Они толкали руками, головой, налегали всем телом, напрягали все свои силы, и едва им удалось столкнуть нос со шлюпбалки, как все они, как один человек, стали карабкаться в шлюпку. В результате она резко качнулась, оттолкнув их назад, беспомощных, натыкающихся друг на друга. Секунду они стояли ошеломленные, злобным шепотом обмениваясь всеми ругательствами, какие только приходили им на ум; затем снова принялись за дело. И так повторялось три раза. Джим описывал мне это угрюмо и задумчиво. Он не упустил ни единой детали комичного зрелища.

– Я проклинал их. Ненавидел. Я должен был смотреть на все это, – сказал он каким-то безразличным тоном, мрачно и пристально вглядываясь в меня. – Подвергался ли кто такому постыдному испытанию!

Он сжал голову руками, как человек, доведенный до безумия каким-то невероятным оскорблением. Было кое-что, чего он не мог объяснить суду – и даже мне; но я был бы недостойн принимать его признания, если бы не сумел понять паузы между словами. В этом натиске на его стойкость была насмешка злобная, порочная, мстительная; был элемент шутовской в его испытании – унижительные комичные гримасы перед лицом надвигающейся смерти или бесчестия.

Он излагал факты, которых я не забыл, но по прошествии стольких лет я не могу вспомнить подлинные его слова, – помню только, что он удивительно хорошо сумел окрасить мрачной своей ненавистью перечень голых фактов. Дважды, сказал он мне, он закрывал глаза, уверенный, что конец наступает, и дважды приходилось ему снова их открывать. Каждый раз он замечал, что тьма все сгущается. Тень немого облака упала с зенита на судно и словно задушила все звуки, выдававшие присутствие живых существ. Он уже не слышал больше голосов под тентом. По его словам, всякий раз, когда он закрывал глаза, вспышка мысли ярко освещала эту груду тел, распростертых у грани смерти. Открывая глаза, он смутно видел борьбу четверых, бешено сражавшихся с упрямой шлюпкой.

– Время от времени они падали навзничь, вскакивали, ругаясь, и вдруг снова кидались все вместе к шлюпке... Можно было хохотать до упаду, – добавил он, не поднимая глаз. Потом взглянул на меня с грустной улыбкой. – Меня ждет веселенькая жизнь! Ведь я еще много раз до самой смерти буду видеть это

забавное зрелище.

Он снова опустил глаза.

– Видеть и слышать... видеть и слышать, – повторил он дважды, с большими паузами, глядя в пространство.

Он снова встрепенулся.

– Я решил не открывать глаза, – сказал он, – и не мог. Не мог, – и пусть все это знают – мне все равно! Пусть это испытают те, кто вздумают осуждать меня. Пусть они найдут иной, лучший выход! Вторично глаза мои раскрылись – да и рот тоже. Я почувствовал, что судно движется. Оно чуть накренилось и поднялось тихонько – медленно, ужасно медленно! Этого не было в течение многих дней. Облако пронеслось над головой, и первый вал, казалось, пробежал по свинцовому морю. В этом движении не было жизни. Однако у меня в мозгу что-то перевернулось. Что бы вы сделали? Вы уверены в себе, не так ли? Что бы вы сделали, если бы почувствовали сейчас – сию минуту, – что этот дом чуть-чуть движется, пол качается под вашим стулом? Вы бы прыгнули. Клянусь небом, вы бы прыгнули с того места, где сидите, и очутились вон в тех кустах внизу.

Он вытянул руку в темноту за каменной балюстрадой. Я не пошевелился. Он смотрел на меня очень пристально, очень сурово. Двух мнений быть не могло: сейчас меня запугивали, и мне следовало сидеть неподвижно, безмолвно, чтобы не сделать рокового признания, как поступил бы я, а это признание имело бы отношение и к случаю с Джимом. Я не намерен был подвергать себя такому риску. Не забудьте – он сидел передо мной, и, право же, он слишком походил на нас, чтобы не быть опасным. Но, если хотите знать, я быстрым взглядом измерил пространство, отделявшее меня от пятна сгущенного мрака на лужайке перед верандой. Он преувеличил. Я не допрыгнул бы на несколько футов... только в этом я и был уверен.

Настал, как он думал, последний момент, но Джим не шевелился. Его ноги по-прежнему были словно пригвождены к палубе, но мысли кружились в голове. И в тот же момент он увидел, как один из тех, что толкались у шлюпки, внезапно попятился, взмахнул руками, словно ловя воздух, споткнулся и упал. Собственно, он не упал, а тихонько опустился, принял сидячее положение и сгорбился,

прислонившись спиной к светлому люку машинного отделения.

– То был кочегар. Тощий, бледный парень с растрепанными усами. Исполнял обязанности третьего механика, – пояснил Джим.

– Умер, – сказал я. Об этом шла речь на судне.

– Так говорят, – произнес Джим с мрачным равнодушием. – Конечно, я этого не знал. Слабое сердце. Он уже несколько дней жаловался, что ему не по себе. Волнение. Чрезмерное напряжение. Черт его знает что. Ха-ха-ха! Нетрудно было заметить, что ему тоже не хотелось умирать. Забавно, правда? Пусть меня пристрелят, если он не был одурачен и не навлек на себя смерти. Одурачен, вот именно! клянусь небом, одурачен так же, как и я... Ах! Если б только он послал их к черту, когда они подняли его с койки, потому что судно тонуло. Если бы он засунул руки в карманы и обругал этих людей!

Он встал, потряс кулаком, взглянул на меня и снова сел.

– Упустил случай, да? – прошептал я.

– Почему вы не смеетесь? – сказал он. – Шутка, задуманная в преисподней. Слабое сердце!.. Иногда мне хочется, чтобы у меня было слабое сердце.

Это меня рассердило.

– Вам хочется? – воскликнул я с глубокой иронией.

– Да! Неужели вы не можете это понять? – крикнул он.

– Не знаю, зачем вам желать больше того, что у вас есть, – сердито сказал я.

Он посмотрел на меня, ничего не понимая. Эта стрела тоже пролетела мимо мишени, а он был не из тех, кто задумывается над зря потраченными стрелами. Честное слово, он решительно ничего не подозревал, с ним нужно было себя вести по-иному. Я был рад, что моя стрела пролетела мимо, – рад был, что он даже не слышал, как я отпустил тетиву.

Конечно, в то время он не мог знать, что кочегар умер. Следующая минута – последняя, которую он провел на борту, – была заполнена событиями и ощущениями, налетавшими на него, как волны на скалу. Я умышленно пользуюсь этим сравнением, ибо, веря его рассказу, склонен думать, что он все время сохранял странную иллюзию пассивности, словно сам он не действовал, а лишь отдавался на волю тех адских сил, которые его избрали жертвой своей шутки. Первое, что он услышал, был скрежещающий звук тяжелых шлюпбалок, которые, наконец, повернулись, – этот скрежет словно проник в его тело с палубы через подошвы ног и поднялся по спинному хребту к мозгу. Шквал был близок, и вторая, более высокая волна угрожающе подняла покорный кузов судна, а мозг и сердце Джима пронзили панические вопли:

«Спускайте! Ради бога, спускайте! Судно тонет!»

Вслед за этим канаты побежали по блокам, а под тентом раздались испуганные голоса.

– Они подняли такой крик, что могли разбудить мертвого, – сказал Джим.

Затем, когда шлюпка с плеском буквально упала наконец на воду, послышался глухой стук падающих в нее тел и нестройные крики:

– Отцепляйте! Отцепляйте! Оттолкнитесь! Шквал надвигается...

Он услышал высоко над своей головой слабое бормотанье ветра; внизу, у его ног, прозвучал болезненный крик. Чей-то голос у борта стал проклипать как у блока. На носу и корме судна раздалось жужжание, словно в потревоженном улье. Джим рассказывал очень спокойно – спокойны были его поза, лицо, голос, и так же спокойно он произнес без малейшего предупреждения:

– Я споткнулся об его ноги...

Вот как я впервые услышал о том, что он сдвинулся с места. Невольно я что-то проворчал от удивления. Наконец он сорвался с места, но о том, когда это произошло и что вывело его из оцепенения, он знал не больше, чем знает вырванное с корнем дерево о ветре, повергшем его на землю. Все это его ошеломило – звуки, тьма, ноги мертвого человека: Клянусь богом! Вся эта дьявольская история была навязана ему, но он не хотел согласиться с тем, что

принял ее сознательно. Удивительно, как заразительно действовало на вас его заблуждение. Я слушал так, словно мне рассказывали о манипуляциях черной магии над трупом.

– Он перевернулся на бок, очень тихо, и это последнее, что я видел на борту, – продолжал Джим. – Мне не было дела до того, что с ним происходит. Похоже было – он поднимается. Конечно, я думал, что он встает. И ждал – он пробежит мимо меня к поручням и прыгнет в шлюпку вслед за остальными. Я слышал, как они возились там, внизу, и чей-то голос словно из глубины шахты крикнул: «Джордж!» Затем все трое принялись вопить. Я отчетливо различал три голоса: один блеял, другой визжал, третий выл... ух!..

Он слегка вздрогнул, и я заметил, что он медленно приподнимается, как будто чья-то сильная рука поднимала его за волосы со стула. Он медленно встал, и когда выпрямился во весь рост, рука словно его отпустила, и он пошатнулся. Жутко спокойным было его лицо, движения и даже голос, когда он сказал:

– Они кричали.

И невольно я насторожился, как будто пытался уловить этот призрачный крик под фальшивым покровом молчания.

– Восемьсот человек находились на борту этого судна, – сказал он, пригвозждая меня к спинке стула страшным, невидящим своим взглядом. – Восемьсот живых людей, а они звали одного мертвого, хотели его спасти:

«Прыгай, Джордж! Прыгай! Да прыгай же!» Я стоял, положив руку на шлюпбалку. Я был очень спокоен. Тьма спустилась непроглядная. Не видно было ни неба, ни моря. Я слышал, как шлюпка ударялась о борт, и больше ни одного звука не доносилось оттуда, снизу, но на судне подо мной стоял гул голосов.

«Mein Gott! Шквал! Шквал! Отталкивайте шлюпку!»

Когда раздался шум дождя и налетел первый порыв ветра, они подняли вой:

«Прыгай, Джордж! Мы тебя поймаем! Прыгай!»

Судно начало медленно опускаться на волне; водопадом обрушился ливень; фуражка слетела у меня с головы; дыхание сперлось. Я услышал издали, словно стоял на высокой башне, еще один дикий вопль: «Джо-о-ордж! Прыгай!»

Судно опускалось, опускалось под моими ногами, носом вниз...

Он задумчиво поднял руку и стал проводить пальцами по лицу, как будто снимая паутину; потом с полсекунды смотрел на свою ладонь и наконец отрывисто сказал:

– Я прыгнул... – Он запнулся. Отвел взгляд. – Кажется, прыгнул, – добавил он.

Его светлые голубые глаза смотрели на меня жалобно; глядя на него, стоящего передо мной, ошеломленного, как будто обиженного, – я испытывал странное ощущение: то была мудрая покорность и снисходительная, но глубокая жалость старика, беспомощного перед ребяческим горем.

– Похоже на то, – пробормотал я.

– Я не знал этого, пока не поднял глаз, – торопливо объяснил он.

Что ж, и это было возможно. Приходилось его слушать, как слушают маленького мальчика, попавшего в беду. Он не знал. Каким-то образом это произошло. И вторично произойти не могло. Он прыгнул на кого-то и упал поперек скамьи. Ему казалось, что все ребра у него с левой стороны поломаны; потом он перевернулся на спину и увидел смутно вырисовывающееся над ним судно, с которого он только что дезертировал. Красный огонь пылал в пелене дождя, словно костер на гребне холма, окутанного туманом.

– Судно казалось высоким, выше стены. Оно вздымалось, как утес, над шлюпкой... Я хотел умереть, – воскликнул он. – Возврата не было. Казалось, я прыгнул в колодезь – в бездонную пропасть...

Глава десятая

Он переплел пальцы и расцепил их. Да, то была правда: он действительно прыгнул в бездонную пропасть. Он упал с высоты, на которую больше уже не мог подняться. К тому времени шлюпка пронеслась вперед мимо борта. Было слишком темно, чтобы они могли разглядеть друг друга; кроме того, их слепил и захлестывал дождь. Он сказал мне, что их словно увлекал поток в черной пещере. Они повернулись спиной к шквалу; шкипер, видимо, опустил весло за корму, чтобы вести шлюпку перед шквалом, и в течение двух-трех минут казалось, что настал конец мира – потоп и непроглядная тьма. Море шипело, «словно двадцать тысяч котлов». Это его сравнение, – не мое. Думаю, после первого порыва ветер стих; Джим сам заявил на следствии, что большого волнения в ту ночь не было. Он съежился на носу шлюпки и украдкой бросил взгляд назад. Он увидел желтый огонек на верхушке манти, мутный, как последняя угасающая звезда.

– Я ужаснулся, что огонь все еще там, – сказал он. Это его подлинные слова. Его привела в ужас мысль, что судно еще не затонуло. Несомненно, он хотел, чтобы отвратительная катастрофа произошла возможно скорее. Люди в шлюпке молчали. В темноте казалось, что она летит вперед, но, конечно, ход ее не мог быть скорым. Ливень пронесся дальше, и страшное, волнующее шипение моря замерло вдали вместе с ливнем. Слышен был лишь тихий плеск у бортов шлюпки. Кто-то громко стучал зубами. Рука коснулась спины Джима. Слабый голос сказал:

«Вы тут?»

Другой дрожащий голос выкрикнул:

«Оно затонуло!»

Они все вскочили на ноги и поглядели назад. Огня они не увидели. Все было черно. Мелкий холодный дождь хлестал их по лицу. Шлюпка слегка накренилась. Кто-то стучал зубами и дважды пытался сдержать дрожь, чтобы заговорить; наконец ему удалось сказать:

«К-как раз в-вов-время... Брр!»

Джим, узнал голос старшего механика, угрюмо сказавшего:

«Я видел, как оно затонуло. Случайно я оглянулся».

Ветер почти стих.

В темноте они прислушивались, повернувшись к корме, словно надеялись услышать крики. Сначала Джим был благодарен, что ночь сокрыла от него страшную сцену, а потом знать об этом и ничего не видеть и не слышать показалось ему величайшим несчастьем.

– Странно, не правда ли? – прошептал он, прерывая свой несвязный рассказ.

Мне это не казалось странным. Должно быть, он подсознательно был убежден в том, что реальность не могла быть такой потрясающей, ужасной и мстительной, как страшная картина, созданная его воображением. Думаю, в этот момент сердце его вместило все страдание, а душа познала страх, ужас и отчаяние восьмисот человек, застигнутых в ночи внезапной и жестокой смертью. Иначе – как объяснить его слова:

– Мне казалось, что я должен выпрыгнуть из этой проклятой шлюпки и плыть назад... полмили... еще дальше... плыть к тому самому месту...

Как объяснить такой импульс? Понимаете ли вы его значение? Зачем возвращаться к тому месту? Почему не утопиться тут же, у борта шлюпки – если он думал топить? Зачем возвращаться туда? Он хотел увидеть... словно должен был усыпить свое воображение мыслью о том, что все кончено, и лишь после этого искать успокоения в смерти. Не верю, чтобы кто-нибудь из вас мог предложить другое объяснение. То было одно из тех странных, волнующих проблесков в тумане. То было необычайное разоблачение. Он сказал об этом так, как будто это была самая естественная вещь на свете. Он подавил этот импульс и тогда обратил внимание на тишину вокруг. Об этом он мне рассказал. Молчание моря и неба, необъятное, сомкнулось как смерть вокруг этих спасенных трепещущих жизней.

– Можно было услышать падение булавки, – сказал он; губы его странно подергивались, как у человека, который, рассказывая о каком-нибудь очень трогательном событии, старается овладеть собой. Молчание! Одному богу известно, как он это молчание воспринял в сердце своем.

– Я не думал, чтобы где-нибудь на земле могло быть так тихо, – произнес он. – Нельзя было отличить моря от неба; не на что было смотреть, нечего было слушать. Ни проблеска, ни тени, ни звука. Можно было подумать, что каждый клочок земли пошел ко дну и утонули все, кроме меня и этих негодяев в шлюпке.

Он склонился над столом и положил руку рядом с кофейными чашками, ликерными рюмками, окурками сигар.

– Кажется, я этому верил. Все погибло и... все было кончено... – Он глубоко вздохнул. – ...для меня.

Марлоу внезапно выпрямился и энергичным жестом отбросил свою сигару. Она прочертила красный след, словно игрушечная ракета, прорезавшая завесу ползучих растений. Никто не шевельнулся.

– Ну что же вы об этом думаете? – воскликнул Марлоу, вдруг оживляясь. – Разве он не был честен с самим собой? Его спасенная жизнь была кончена, ибо почва ушла у него из-под ног, не на что было ему смотреть и нечего слушать. Уничтожение – да! А ведь это было только облачное небо, спокойное море, неподвижный воздух. Только ночь, только молчание.

Так продолжалось несколько минут; потом они почувствовали – внезапно и единодушно – потребность болтать о своем спасении.

«Я с самого начала знал, что оно затонет!»

«Еще минута, и мы...»

«Еле-еле успели, ей-богу!»

Джим ничего не сказал. Затихший было ветер начал снова усиливаться, и ропот моря вторил этой болтовне, последовавшей, как реакция, после минуты немого ужаса. Оно затонуло! Оно затонуло! Сомнений быть не могло. Ничем нельзя было помочь. Снова и снова они повторяли эти слова, как будто не могли остановиться. Они и не сомневались, что оно должно было затонуть. Огни исчезли. Ошибиться невозможно. Огни исчезли. Этого следовало ждать... Судно должно было затонуть... Джим заметил, что они говорили так, словно оставили

позади только судно, без людей. Они решили, что затонуло оно быстро. Казалось, это доставило им какое-то удовольствие. Они уверяли друг друга, что на это потребовалось немного времени – «пошло ко дну, как лист железа». Старший механик заявил, что огонь на верхушке мачты упал «словно брошенная горящая спичка». Тут второй механик истерически захохотал: «Я р-рад. Я р-рад».

– Зубы его стучали, как трещотка, – сказал Джим, – и вдруг он захныкал. Он плакал и всхлипывал, как ребенок, захлебываясь и приговаривая: «О более мой! О боже мой!» Он замолкал на секунду и вдруг снова начинал: «О моя бедная рука! О моя бедная рука!» Я чувствовал, что готов его прибить. Двое сидели на корме. Я едва мог различить их фигуры. Голоса доносились ко мне – бормотанье, ворчанье. Тяжело было это выносить. Мне было холодно. И я ничего не мог поделать. Мне казалось, что, если я пошевелинусь, мне придется отправиться за борт и...

Его рука что-то нащупывала, коснулась ликерной рюмки; он быстро ее отдернул, словно притронулся к раскаленному углю. Я слегка подвинул бутылку и спросил:

– Не хотите ли еще?

Он сердито посмотрел на меня.

– Вы думаете, я не смогу это рассказать, не взвинчивая себя? – спросил он.

Компания кругосветных путешественников отправилась спать. Мы были одни; только в тени виднелась неясная белая фигура; заметив, что на нее смотрят, она скользнула вперед, приостановилась, затем безмолвно скрылась. Час был поздний, но я не торопил своего гостя.

Сидя, растерянный, в шлюпке, он услышал, как его спутники начали вдруг кого-то ругать.

«Чего ты не прыгал, сумасшедший?» – сказал чей-то ворчливый голос.

Старший механик слез с кормы и стал пробираться к носу, словно подхлестываемый злобным намерением разделаться «с величайшим идиотом на свете». Шкипер, сидевший на веслах, хриплым голосом выкрикивал обидные

эпитеты. Джим поднял голову и услышал имя «Джордж»; в то же время в темноте чья-то рука ударила его в грудь.

«Что ты можешь сказать в свое оправдание, дурак?» – осведомился кто-то в порыве справедливого негодования.

– Они напустились на меня, – сказал Джим, – они ругали меня... называя Джорджем.

Он взглянул на меня, попробовал улыбнуться, отвел глаза и продолжал:

– Этот маленький второй механик наклонился к самому моему носу: «Как, да ведь это проклятый штурман!»

«Что!» – заревел шкипер с другого конца шлюпки.

«Не может быть!» – взвизгнул старший механик. И тоже наклонился, чтобы заглянуть мне в лицо.

Ветер внезапно стих. Снова полил дождь, и мягкий таинственный шум, каким море отвечает на ливень, поднялся со всех сторон в ночи.

– Сначала они были слишком ошеломлены, чтобы тратить много слов, – стойко рассказывал Джим, – а что мне было им сказать? – Он запнулся, потом с усилием продолжал: – Они называли меня скверными именами...

Голос его, пониженный до шепота, вдруг зазвучал громко, окрепнув от презрения, словно речь шла о каких-то неслыханных мерзостях.

– Все равно, как бы они меня ни называли, – угрюмо сказал он. – Ненависть звучала в их голосах. Недурное дело! Они не могли простить мне, что я очутился в шлюпке. Эта мысль была им ненавистна. Они обезумели... – Он как-то странно рассмеялся... – Но это удержало меня от... Смотрите! Я сидел, скрестив руки, на носу, на планшине...

Он ловко уселся на край стола и скрестил руки...

– Вот так – понимаете? Достаточно было чуть-чуть откинуться назад, и я бы отправился... вслед за остальными. Чуть-чуть откинуться...

Он нахмурился и, коснувшись средним пальцем лба, многозначительно сказал:

– Эта мысль все время была у меня в голове. Все время... А дождь, холодный, как растаявший снег, – нет, еще холоднее – падал на мой тонкий бумажный костюм... Никогда мне не будет так холодно. И небо было черное, совсем черное. Ни единой звезды, ни проблеска света – ничего за пределами этой проклятой шлюпки и этих двоих, которые тявкали на меня, словно дворняжки на вора, загнанного на дерево. «Тяв! Тяв! Что ты тут делаешь? Хорош, нечего сказать! Здесь не место для такой особы, как ты! Что, ты уже не такой очумелый? Влез в шлюпку? Да? Тяв! Тяв!» Эти двое старались перекричать друг друга. Шкипер лаял с кормы; за завесой дождя его нельзя было разглядеть; он выкрикивал ругательства на своем грязном жаргоне. «Тяв! Тяв! Гау, гау, гау! тяв, тяв!» Приятно было их слушать. Уверяю вас, это меня возбуждало. Это спасло мне жизнь. А они все орали, словно хотели криком свалить меня за борт... «Как это ты набрался храбрости прыгнуть? Ты здесь не нужен. Если б я знал, кто здесь сидит, я б тебя швырнул за борт, проклятый хорек! Что ты сделал с механиком? Как это ты решился прыгнуть, трус? И почему бы нам троим не швырнуть тебя за борт?...»

Они задохлись от крика. Ливень прекратился. И снова тишина. Ни звука не слышно было вокруг шлюпки. Они хотели отправить меня за борт! Ну что ж, их желание исполнилось бы, если б только они сидели молча. Швырнуть за борт! Пошли бы они на это? «Попробуйте», – сказал я. «За два пенса я бы швырнул!»

«Не стоит пачкаться!» – взвизгнули они оба.

Было так темно, что я мог различить их только, когда они шевелились. А право, жаль, что они не попытались!

Я невольно воскликнул:

– Какое необычайное положение!

– Недурно, а? – сказал он, словно в оцепенении. – Они, кажется, думали, что я почему-то прикончил того кочегара. Зачем мне было это делать? И как я мог

знать? Ведь попал же я каким-то образом в шлюпку»? В шлюпку... я.

Мускулы вокруг его рта сократились, и гримаса прорезала маску, скрывавшую его лицо, – сильная, мимолетная судорога, словно вспышка молнии, освещающая на секунду тайные извивы облака.

– Я прыгнул. Несомненно, я сидел с ними в шлюпке, – не так ли? Не ужасно ли: что-то побудило человека сделать такую вещь, а потом на него ложится ответственность! Что я знал об их Джордже, из-за которого они подняли вой? Помню, я видел, как он лежал скорчившись на палубе.

«Убийца и трус!» – выкрикивал старший механик. Казалось, только эти два слова и приходили ему на память. Мне было все равно, но этот крик начал меня раздражать.

«Замолчи», – сказал я. Тут он собрался с силами и отчаянно завопил:

«Ты его убил! Ты его убил!»

«Нет, – крикнул я, – но тебя я сейчас убью!»

Я вскочил, он с грохотом упал назад через скамью. Я не знаю, как это произошло. Было слишком темно. Должно быть, он хотел попятиться. Я стоял неподвижно, повернувшись лицом к корме, а маленький второй механик захныкал: «Ведь ты же не ударишь человека со сломанной рукой... а еще называешь себя джентльменом».

Я услышал тяжелые шаги и хриплое ворчание. Вторая скотина шла на меня, ударяя веслом по корме. Я видел, как он надвигается, огромный-огромный, – такими нам представляются люди в тумане или во сне.

«Иди!» – крикнул я. Я швырнул бы его за борт, как узел с тряпьем. Он остановился, пробормотал что-то и повернул назад. Быть может, он услышал вой ветра. Я ничего не слышал. То был последний рывок шквала. Шкипер вернулся на свое место. Мне было жаль. Я не прочь был попытаться...

Он разжал и снова сжал кулак: руки его злобно дрожали.

– Тише, тише, – прошептал я.

– А? Что? Я не волнуюсь, – возразил он, страшно разобиженный, и, судорожно двинув локтем, опрокинул бутылку коньяка. Я рванулся вперед, отодвигая стул. Он выскочил из-за стола, как будто мина взорвалась за его спиной, и метнулся в сторону; я увидел испуганные глаза и побледневшее лицо. Потом на лице его отразилась досада.

– Ужасно неприятно! Какой я неловкий, – пробормотал он, очень расстроенный. Нас окутал острый запах пролитого алкоголя, и удушливая атмосфера питейного дома ворвалась в прохладный чистый мрак ночи. В зале ресторана потушили огни; наша свеча одиноко мерцала в длинной галерее, и колонны почернели от подножия до капителей. На фоне ярких звезд угол дома, где помещается Управление порта, вырисовывался отчетливо по ту сторону эспланады, словно мрачное здание придвинулось ближе, чтобы видеть и слышать.

Он принял равнодушный вид.

– Пожалуй, сейчас я не так спокоен, как тогда. Я был готов ко всему. Какое это имело значение?..

– Недурно вы провели время в этой шлюпке, – заметил я.

– Я был готов, – повторил он. – После того как исчезли огни судна, могло произойти все что угодно, – все, и мир об этом не узнал бы. Я это чувствовал и был доволен. И тьма была как раз кстати. Словно нас быстро замуровали в большом склепе. Безразлично было все, что бы ни происходило на земле. Некому высказывать свое мнение. Ни до чего нет дела...

В третий раз за время нашего разговора он хрипло засмеялся, но никого не было поблизости, чтобы заподозрить его в опьянении.

– Ни страха, ни закона, ни звуков, ни посторонних глаз... даже мы сами ничего не могли видеть... во всяком случае до восхода солнца.

Меня поразила правда, скрытая в этих словах. Что-то странное есть в маленькой шлюпке, затерянной на поверхности моря. Над жизнью, ускользнувшей из-под

сени смерти, как будто нависает тень безумия. Когда ваше судно вам изменяет, кажется, что изменил весь мир – мир, который вас создал, обуздывал, о вас заботился. Словно души людей плывут над пропастью, и, соприкасаясь с необъятным, вольны совершить поступок героический, нелепый или отвратительный. Конечно, если речь идет о вере, мысли, любви, ненависти, убеждениях или о видимом аспекте вещей материальных, крушение постигает всех людей, но в данном случае было что-то гнусное, и одиночество создалось полное, – в силу возмутительных обстоятельств эти люди были отрезаны от мира, от всех остальных людей, чей идеал поведения никогда не подвергался испытанию враждебной и страшной шуткой.

Они были взбешены, считая его трусливым пройдохой; он сосредоточил на них всю свою ненависть; он хотел бы отомстить им за то отвратительное искушение, какое встало по их вине на его пути. Шлюпка, затерянная в море... Дело не дошло до драки – вот еще одно проявление той шутовской низости, какой была окрашена эта катастрофа на море. Одни угрозы, одно притворство, фальшь от начала до конца, словно созданная чудовищным презрением тех темных сил, что торжествовали бы всегда, если бы не разбивались постоянно о стойкость людей.

Я спросил, подождав немного:

– Что же случилось?

Ненужный вопрос. Я слишком много знал, чтобы надеяться на единый возвышающий жест, на милость затаенного безумия и ужаса.

– Ничего, – сказал он. – Я думал, что это всерьез, а они хотели только пошуметь. Ничего не случилось.

И восходящее солнце застало его на том самом месте, куда он прыгнул, – на носу шлюпки. Какая настойчивая готовность ко всему! И всю ночь он держал в руке румпель. Они уронили руль за борт, когда пытались укрепить его, а румпель, должно быть, упал на нос, когда они метались в шлюпке, пытаясь делать все сразу, чтобы поскорей оттолкнуться от борта судна. Это был длинный и тяжелый деревянный брус, и, очевидно, Джим в течение шести часов сжимал его в руках. Это ли не готовность! Вы представляете себе, как он, молчаливый, простоял полночи на ногах, повернувшись лицом навстречу хлещущему дождю, впиваясь глазами в темные фигуры, следя за малейшим

движением, напрягая слух, чтобы уловить тихий шепот, изредка раздававшийся на корме? Стойкость мужества или напряжение, вызванное страхом? Как вы думаете? И выносливость его нельзя отрицать. Около шести часов он простоял в оборонительной позе, настороженный, неподвижный; а шлюпка медленно плыла вперед или останавливалась, повинуюсь капризам ветра; море, успокоенное, наконец заснуло; облака проносились над головой. Небо, сначала необъятное, тусклое и черное, превратилось в мрачный, сияющий свод, засверкало блеском созвездий, потускнело на востоке, побледнело в зените, и темные фигуры, заслонявшие низко стоящие звезды за кормой, приобрели очертания, стали рельефными, вырисовались плечи, головы, лица. Угрюмо они смотрели на Джима; волосы их были растрепаны, одежда изодрана; мигая красными веками, они встречали белый рассвет.

– У них был такой вид, словно они неделю валялись пьяные по канавам, – выразительно описывал Джим; потом он пробормотал что-то о восходе солнца, предвещавшем тихий день. Вам известна эта привычка моряка по всякому поводу упоминать о погоде. Этих нескольких отрывочных слов было достаточно, чтобы я увидел, как нижний край солнечного диска отделяется от линии горизонта, широкая рябь пробегает по всей видимой поверхности моря, словно воды содрогаются, рождая светящийся шар, а последнее дуновение ветра, как вздох облегчения, замирает в воздухе.

– Они сидели на корме, плечо к плечу, – шкипер посредине, – и таращили на меня глаза, словно три грязные совы, – заговорил он с ненавистью, растворившейся в этих простых словах, как капля яда растворяется в стакане воды; но мысль моя не могла оторваться от этого восхода солнца. Я видел под прозрачным куполом неба этих четырех человек, окруженных пустыней моря, видел одинокое солнце, равнодушное к этим живым точкам; оно поднималось по чистому своду неба, словно хотело с высоты взглянуть на свое величие, отраженное в неподвижных водах океана.

– Они окликнули меня с кормы, – сказал Джим, – как будто мы были друзья-приятели. Я их услышал. Они меня просили образумиться и бросить эту «проклятую деревяшку». Зачем мне так себя держать? Никакого вреда они мне не причинили, не так ли? Никакого вреда... Никакого вреда!

Лицо его покраснело, словно он не мог выдохнуть воздух, наполнявший его легкие.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Свинья (нем)

2

Пунки – большие матерчатые веера, вделанные в раму и приводимые в действие веревкой. (Здесь и далее – прим. пер.)

3

Ассессор – судебное должностное лицо. Соответствует нашему заседателю.

4

Панч и Джуди – герои народного кукольного театра Англии.

5

Вполне искренно (лат.)

6

Виндзейль – парусиновый рукав, чрез который очищается воздух внутри судна.

7

Боже мой! (нем.)

Купить: https://tellnovel.com/ru/konrad_dzhozef/lord-dzhim-sbornik

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)